|  |
| --- |
| http://www.wco.ru/biblio/books/haas/design/B1.gif |



РАЗРЕШЕНО К ПЕЧАТИ  
ИЗДАТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

**А. Ф. Кони**   
**Федор Петрович Гааз**

http://www.wco.ru/biblio/books/haas/design/publisher.gif  
CЕСТРИЧЕСТВО  
ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ  
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ  
ЕЛИЗАВЕТЫ  
 МОСКВА 2006

 Оглавление

Предисловие к первому изданию......................................................3

Глава первая.........................................................................................5

Глава вторая.......................................................................................15

Глава третья........................................................................................21

Глава четвертая..................................................................................35

Глава пятая.........................................................................................51

Глава шестая......................................................................................73

Глава седьмая.....................................................................................89

Глава восьмая...................................................................................102

Глава девятая....................................................................................112

Глава десятая....................................................................................115

Глава одиннадцатая.........................................................................128

Глава двенадцатая............................................................................138

*Печатается по изданию:  
А. Ф. Кони. Федор Петрович Гааз.  
Биографический очерк. Изд. 3-е. — СПб. 1904.  
Текст приводится с незначительными сокращениями, в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации.*

**ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ**

Летом 1890 года в Петербурге состоялся IV Международный тюремный конгресс, связанный с чествованием памяти знаменитого английского филантропа Джона Говарда, умершего в России в 1790 году. Предполагая произнести при открытии заседаний конгресса речь о заслугах Говарда, автор предлагаемого очерка занялся собиранием сведений о русских его последователях. Нездоровье воспрепятствовало осуществлению этого предположения, но между сведениями о тех, кто шел у нас по стопам Говарда, пришлось встретиться с данными, относящимися к деятельности главного врача московских тюремных больниц с 1829 по 1853 год — доктора Федора Петровича Гааза.

Чем дальше шло ознакомление с разбросанными по различным изданиям заметками и воспоминаниями о Гаазе, тем ярче и привлекательнее выступала в своей величавой простоте его совсем забытая в настоящее время личность, в некоторой степени даже заслоняя собою образ Говарда. Разбор обширного архивного материала по делам и журналам Попечительного о тюрьмах общества, рассмотрение рукописей, писем и сочинений Гааза и сношения с людьми, лично его знавшими или слышавшими о нем от его друзей или близких знакомых, дали возможность подробно изучить сердечную глубину и нравственную высоту этого человека во всех проявлениях его трудовой, всецело отданной на служение человечеству жизни.

Результатом этого изучения был в 1892 году ряд публичных чтений о Гаазе, в пользу голодающих. Содержание этих чтений, обработанное и дополненное новыми сведениями, составляет предмет настоящего очерка. Он все-таки далеко не полон. Быть может, однако, появление его в печати вызовет к жизни новые воспоминания о человеке, имя и деятельность которого *не должны* быть оставляемы на жертву забвению.

Принося искреннюю благодарность всем поделившимся с ним своими сведениями о Гаазе, и в особенности врачу Александровской больницы в Москве С. В. Пучкову, автор посвящает свой труд профессору Харьковского университета и директору глазной его клиники Леонарду Леопольдовичу Гиршману.

Каждый, кому довелось встретиться на жизненном пути с доктором Гиршманом и перед кем прошел чистый и человеколюбивый образ этого слуги и друга страждущих, поймет чувство, внушившее мысль посвятить именно ему очерк жизни Гааза, который, к слову сказать, был тоже по своей специальности врачом глазных болезней. Для тех же, кому незнакомо имя профессора Гиршмана, пусть послужат объяснением посвящения заключительные слова адреса студентов-медиков, поднесенного ему в день тридцатипятилетия его деятельности, 24 сентября 1895 года:

«Учитель, научи нас трудной науке среди людей остаться человеком; научи нас в больном видеть своего брата без различия религии и общественного положения; научи нас любить правду, пред ней одной преклоняться. Отдаваясь всей душой мгновенным порывам к добру, мы часто быстро падаем духом. Научи же нас, где черпать ту силу, чтобы до преклонных лет сохранить чистоту и свежесть идеалов, чтобы жизнь, пригибая наше тело к земле, не сгибала, не старила нашего духа.

Учи же нас еще многие и многие годы, дорогой учитель, отдавая свои силы и помыслы служению больному брату, не извлекать корысти из несчастья ближнего, не делать ремесла из священного призвания нашего!»

*С.Петербург*

*1896 г.*

**ГЛАВА ПЕРВАЯ**

3 июня 1890 года в Петербурге с особою торжественностью был открыт IV Международный тюремный конгресс. Вступительная речь В. Д. Спасовича была посвящена Говарду. В ней заслуги «великого человеколюбца» и его права на бессмертную славу были очерчены ярко и выпукло — и, без сомнения, все многочисленное блестящее собрание тюрьмоведов и государственных людей мысленно преклонилось пред образом человека, который, по выражению Бентама, несколько видоизмененному оратором, «lived an apostle and died à hèro» — «жил как апостол и умер как герой».

И действительно, Говард вполне достоин этой славы и возданной ему чести. Он завещал потомству свое имя и свое дело. Написанное на скромном памятнике в Херсоне, где внезапно окончил свои дни этот подвижник добра и справедливости, его имя имеет право быть начертанным в сердце каждого человека, знакомого с историей европейской культуры и гражданственности. Дело Говарда было дело великое, богатое благотворными последствиями. Он положил начало *тюремному знанию*; он первый — и в печати, и в законодательстве своей родины — потребовал, настойчиво и убежденно, наряду со справедливою суровостью закона по отношению к преступлению сострадания к человеку, указывая на строгое отличие кары от муки. С порога XIX века его личность и труды проливают чистый свет разумной и глубокой критики тюремных порядков, и в этой критике лежит корень всех дальнейших тюремных преобразований.

...Есть, однако, менее счастливо обставленные деятели. Они проходят бесшумно по тернистой дороге своей жизни, сея направо и налево добро и не ожидая среди общего равнодушия и всевозможных препятствий не только сочувствия своему труду, но даже и справедливого к нему отношения. Внутренний, сокровенный голос направляет их шаги, а глубоко коренящееся в душе чувство наполняет и поддерживает их, давая им нужную силу, чтобы бодро смотреть в глаза прижизненной неправде и посмертному забвению.

Одним из таких деятелей был доктор *Федор Петрович Гааз*. Не уступая в своем роде и на своем месте Говарду, человек цельный и страстнодеятельный, восторженный представитель коренных начал человеколюбия, он был поставлен далеко не в такие условия, как знаменитый английский филантроп. Последнему достаточно было встретить, проверить и указать зло, чтобы знать, что данный толчок взволнует частный почин и приведет в движение законодательство. Ему достаточно было вспахать почву, и он мог быть спокоен за судьбу своих усилий: сеятели и жнецы найдутся. Но Гааза окружали косность личного равнодушия, бюрократическая рутина, почти полная неподвижность законодательства и целый общественный быт, во многом противоположный его великодушному взгляду на человека. Один, очень часто без всякой помощи, окруженный неуловимыми, но осязательными противодействиями, он должен был ежедневно стоять на страже слабых ростков своего благородного, требовавшего тяжкого и неустанного труда посева. Умирая, Говард оставлял ряд печатных всеми признанных и оцененных трудов, служивших для него залогом земного бессмертия; выпуская из ослабленных смертельною болезнью рук дело всей своей жизни, Гааз не видел ни продолжателей впереди, ни прочных, остающихся следов назади. С ним среди равнодушного и преданного личным «злобам дня» общества грозило умереть и то отношение к «несчастным», которому были всецело отданы лучшие силы его души. Вот почему для нас, русских, его личность представляет не меньший интерес, чем личность Говарда. Она нам ближе, понятнее... Скажем более — от нее веет бóльшим сердечным теплом.

Прежде, однако, чем говорить о жизни и деятельности Гааза, бросим беглый взгляд на состояние русских тюрем в 20-х годах нынешнего столетия.

Тюремное дело, особливо если оно находится в связи с ссылкою, может быть, подобно механике, разделяемо на статику и динамику. *Статика* — тюрьма неподвижная, с ее общими порядками, устройством и оседлым населением. *Динамика* — тюрьма подвижная, со своими исключительными порядками, с населением, постоянно сменяющимся, с особыми приемами учета людей и способами дисциплины среди этого подвижного населения. У нас статика всегда была лучше организована, чем динамика, и городская тюрьма в то время, о котором мы говорим, представляла все-таки менее тяжелую картину, чем пересыльные тюрьмы и этапные здания. Но эта меньшая тяжесть все-таки весьма относительна. Есть красноречивые в своей мрачности описания тюрем в Петербурге и Москве, сделанные англичанином Венингом и квакерами Алленом и Грелле де Мобилье, осматривавшими их по поручению Императора Александра I. Из них, между прочим, видно, что неоднократные законодательные распоряжения Екатерины II и Александра I об улучшении тюрем оставались лишь на бумаге, не проникая в жизнь даже в столице и резиденции. Только с восшествия на престол Николая Павловича эти меры мало-помалу приобретают реальное значение.

Тюрьмы Петербурга в описываемое время — мрачные, сырые комнаты со сводами, почти совершенно лишенные чистого воздуха, очень часто с земляным или гнилым деревянным полом ниже уровня земли. Свет проникает в них сквозь узкие, наравне с поверхностью почвы, покрытые грязью и плесенью и никогда не отворяющиеся окна; если же стекло в оконной раме случайно выбито, оно по годам не вставляется и через него вторгаются непогода и мороз, а иногда стекает и уличная грязь. Нет ни отхожих мест, ни устройств для умывания лица и рук, ни кроватей, ни даже нар. Все спят вповалку на полу, подстилая свои кишащие насекомыми лохмотья; и везде ставится на ночь традиционная «параша». Эти помещения битком набиты народом. В двух обыкновенного размера комнатах тюрьмы при управе благочиния содержится 100 человек, так что только небольшая их часть, после понятных ссор и пререканий, может ночью прилечь в невообразимой тесноте; в одной из комнат рабочего дома, находящейся почти в земле, длиною в шесть сажен, а шириною в три, Венинг нашел 107 человек всякого возраста, без какой-либо работы. Число это постоянно пополнялось, так как вследствие отравленного воздуха еженедельно приходилось уносить в больницу более десяти человек, освобождая места для новых сидельцев. Не лучше было и в кордегардии при губернском правлении, где в комнатах, устроенных для тесного помещения 50-ти человек, содержалось до 200 человек, не имевших никакой возможности лечь. В этих местах, предназначенных, при их учреждении, для возможного исправления и смягчения нравов нарушителей закона, широко и невозбранно царили разврат, нагота, холод, голод и мучительство.

*Разврат* — потому что в съезжих домах женщины не отделялись от мужчин, да и в других тюрьмах никаких серьезных преград между местами содержания мужчин и женщин не существовало, а надзор за теми и другими возлагался на голодных гарнизонных солдат и продажных надсмотрщиков, получавших ни с чем не сообразное грошовое содержание. Люди одного пола содержались вместе, несмотря ни на различие возраста, ни на разность повода, по которому они лишены свободы. Дети, взрослые и старики сидели вместе; заподозренные в преступлении или виновные в полицейских нарушениях — вместе с отъявленными злодеями, которые по годам вследствие судебной волокиты заражали нравственно все молодое и восприимчивое, что их окружало. При посещении Венинга в рабочем доме оказались сидящими *вместе* дети одиннадцати и двенадцати лет, разбойники, окованные цепями, и семидесятидвухлетний Тимофей Чеоров, содержавшийся уже двадцать два года...

В женских отделениях городской тюрьмы и рабочего дома — то же самое. Распутные женщины, нередко заразительно больные, содержались вместе с лишенными свободы за долги. «Бедная девушка, — говорит Венинг, — которая попадет в сие место хотя на одну ночь, должна необходимо потерять всякое чувство добродетели и приготовиться на жизнь развратную и несчастную; по точном рассмотрении сих мест я не могу не назвать их истинным рассадником порока». Только в самых крайних случаях заболевших арестантов переводили в лазарет, мало чем отличавшийся от места их обыденного содержания. Притом за совершенным недостатком места туда сажались и здоровые. Так, Венинг нашел в подвальном мужском лазарете при рабочем доме 36 человек, помещенных «за теснотою» с больными; князь Голицын, ревизовавший московскую пересыльную тюрьму уже в 1828 году, видел заразных больных, а также привезенных после «торговой казни» и приготовляющихся идти в ссылку ночующими в одной общей комнате, а сенатор Озеров, осматривавший в то же время губернский зáмок, нашел больных «горячками и сыпью» по трое на одной постели. Чем и как лечили арестантов, можно себе представить, хотя бы отметив, что в 1827 году в больнице московского губернского замка для «утишения» крика сошедшей с ума арестантки ей вкладывали в рот деревянную распорку...

Все содержатся *впроголодь*. В некоторых тюрьмах отпускается на руки дежурного надзирателя по 15 копеек ассигнациями на каждого из заключенных, с тем, чтобы он их продовольствовал. Контроля нет, наблюдения тоже, и арестанты съезжих домов жалуются Венингу на крайний недостаток даваемого им черствого хлеба. Эти 15 копеек при выпуске арестанта, согласно установившемуся обычаю, взыскиваются с него за каждый день содержания. Несостоятельный к уплате задерживается в тюрьме как несостоятельный должник. Но далеко не везде существует и такой способ содержания. Его заменяют подаяния. Особенно это практикуется для арестованных при полиции. Удовлетворение их пищею часто зависит от случая, от сердоболия горожан. Поэтому в тюрьмах XIX века оказывается возможною смерть от обычной в XVI веке «гладной нужи». Так, в 1810 году начальник полтавского «секвестра» доносит по начальству, что за малыми подаяниями колодники очень отощали, а один «с приключившейся от голода пухлости умре, да и остальным тридцати то же следовать может».

Плохо прикрыто и *тело* колодников. Казенного платья не полагается, а свои лохмотья скоро отказываются служить — и тот же сенатор Озеров находит в московском губернском замке 92-х человек *без всякой одежды и обуви*. А прикрыть тело следовало бы уже потому, что в дурно и даже вовсе не отапливаемых тюремных помещениях в суровые зимы *очень холодно*. Князь Голицын заявляет в 1829 году, что московский пересыльный замок в невозможном состоянии, что в нем невыносимо холодно, причем холод этот на женской половине, где меньше скученности, доходит до того, что матери, упросив надзирателей, посылают по ночам своих детей, без различия пола и возраста, отогреваться на мужскую половину... В Тамбове в 1815 году все колодники помещены в двух тесных и сырых казармах: тут и варят пищу, тут и валяются заразные больные, тут же, на глазах всей этой нищеты и порока, родят женщины. Не лучше смирительный и рабочий дома, помещающиеся в одной казарме. «В больнице, — как доносит в 1815 году оператор Стриневский, — нет необходимейших медикаментов; белье не мыто с открытия больницы, то есть *с прошлого столетия*; труднобольные не имеют отхожих мест» и т. д. Тот же князь Голицын в записке, представленной в 1829 году генерал-губернатору, называет состояние московских тюрем наводящим ужас и подробным описанием подтверждает справедливость своего вывода...

Содержимое в таких условиях разнородное тюремное население, пользуясь плохим надзором, пьянствует, когда есть средства, буйствует, стремится к побегу, безжалостно уродует себя, чтобы стереть позорные клейма на лице, вытравляя их шпанскими мухами и серною кислотою. При отсутствии системы в содержании и распределении арестантов начальство считает нужным действовать на них исключительно страхом и отягощением их участи. Отсюда всякие напрасные мучительства. В тесные, темные и загаженные «секретные» сажают в Москве по три арестанта сразу и держат их там в невозможной тесноте по неделям в наказание, «как будто, — замечает князь Голицын, — таким сближением с убийцами и разбойниками можно исправить человека». Венинг видел в петербургском рабочем доме колодников, прикованных за шею, и женщин в железных на шее рогатках, на которых было по три острых спицы, длиною до восьми дюймов, сделанных так, что носительницы рогаток не могли ложиться ни днем, ни ночью, хотя бы содержание их продолжалось несколько недель.

«Я основательные причины имею думать, — замечает Венинг, — что некоторые из них таким образом мучатся единственно из угождения тем, кто их отдает в сие место...» В одном из съезжих домов Петербурга он нашел пять очень тяжелых стульев, к которым арестанты приковывались за шею цепью, принужденные таскать их постоянно за собою.

Провинция, конечно, не отставала в этом отношении от столиц и даже превосходила их. Так, в 20-х годах до Государственного совета доходило дело о ярославском частном приставе Болотове, который в сильную стужу держал арестанта Срамченко на съезжем дворе прикованным цепью к чрезвычайно тяжелому стулу; в то же время рассматривалось дело сотника Левицкого, забившего в устьмедведицкой тюрьме арестанта Климова в неподвижную колодку, в коей он и умер.

Таковы были общие черты нашей тогдашней тюремной статики. Едва ли они нуждаются в дальнейшей характеристике. Достаточно вспомнить слова доктора Венинга: «Невозможно без отвращения даже и помыслить о скверных следствиях таких непристойных учреждений: здоровье и нравственность равно должны гибнуть здесь, как ни кратко будет время заточения...»

Если такова была статика, то легко себе вообразить динамику. Народное представление, сказавшееся в песнях и поговорках, недаром рисовало Владимирку, то есть главный путь из Москвы в Сибирь, как нечто мрачное и безнадежное, как путь горькой печали и тяжких воздыханий. Низкие, сырые, тесные этапные помещения, пропитанные грязью и испарениями десятков тысяч людей, принимали в себя на ночь партии ссыльных лишь для того главным образом, чтобы устранить их побеги во время отдыха, необходимого для дальнейшего продолжения бесконечного пути. Об этом только и была серьезная забота. По дороге между этапными пунктами двигались звеня цепями, сопровождаемые пешком и на повозках обессилевшими семьями группы ссыльных и каторжных под сильным караулом, возможное сокращение численности которого составляло всегда одну из серьезных забот разных ведомств. Перо наблюдателя и бытописателя, стих поэта и кисть живописца столько раз изображали Владимирку, столько раз рисовали эту тяжкую дорогу под серым небом, посылающим вьюгу и холод, столько раз заставляли невольно вспоминать слова Данта: «Per me si va nella città dolente, per me si va ne l’eterno dolore, per me si va tra la perduta gente»[[1]](#footnote-1) — что на подробностях тюремной динамики 20-х годов останавливаться нечего. Их можно себе представить, не боясь впасть в преувеличение. Но две из них заслуживают, однако, упоминания. Обе относятся к самым последним годам царствования Александра I.



*Народное представление недаром рисовало Владимирку как нечто мрачное и безнадежное, как путь горькой печали и тяжких воздыханий*

29 января 1825 года установлено по представлению командира отдельного корпуса внутренней стражи в предупреждение побегов бритье половины головы *всем идущим по этапу*, без различия между ссыльными и каторжными, беспаспортными и пересылаемыми административно, закованными и незакованными. Подводя в этом отношении разнообразную виновность и прикосновенность к этапному пути под одну внешнюю мерку, это распоряжение не допускало исключений. Поэтому стали брить головы не только ссылаемым административно на родину или на водворение, но даже и идущим из западных губерний арестантам, страдавшим своеобразною болезнью волос — колтуном. Нарушение свято соблюдаемого на месте обычая не срезывать колтун, простуда при этом головы, привыкшей к болезненному теплу, и, быть может, какие-то неисследованные еще свойства этой болезни вызывали у обриваемых сильнейшие нервные припадки. Но ножницы и бритва были неумолимы, несмотря на то, что таких больных ждали ледяные поцелуи сибирской стужи.

4 апреля 1824 года по распоряжению начальника Главного штаба Дибича введены были в виде опыта особые ручные прутья для ссыльных, отправляемых в Сибирь через Казанскую, Пермскую и Оренбургскую губернии, а 12 мая следующего года вследствие представления командира внутренней стражи графа Комаровского прут был признан общим способом для препровождения арестантов всех наименований, кроме каторжных, по этапу. На толстый аршинный железный прут с ушком надевалось от восьми до десяти запястий (наручней), и затем в ушко вдевался замок, а в каждое запястье заключалась рука арестанта. Ключ от замка клался вместе с другими в висевшую на груди конвойного унтер-офицера сумку, которая обертывалась тесемкою и запечатывалась начальником этапного пункта. Распечатывать ее в дороге не дозволялось. Нанизанные на прут люди — ссыльные, пересылаемые помещиками, утратившие паспорт и т. д., связанные таким образом вместе, отправлялись в путь рядом с каторжными, которые шли в одиночку, ибо были закованы в ручные и ножные кандалы... Прут соединял людей, совершенно иногда различных по возрасту (бывали дряхлые старики, бывали дети), росту, походке, здоровью и силам. Не менее различны бывали эти соединяемые между собою и по своему нравственному складу, и по тому, что привело их к общему пруту. Прут убивал всякую индивидуальность, возможную даже в условиях этапного пути; он насильственно связывал людей, обыкновенно друг другу чуждых, часто ненавистных. Он отнимал у них слабое утешение одиночества, то утешение, отсутствие которого так испугало Достоевского, когда, оглядевшись в Мертвом доме, он воскликнул с отчаянием: «Я никогда не буду один!» Неизбежные свидетели и слушатели всего, что делают и говорят случайные товарищи, нанизанные на прут ссыльные сбивались с ноги, не поспевали друг за другом, слабые тяготили сильных, крепкие негодовали на немощных. Топочась около прута, наступая друг на друга, натирая затекавшие руки наручнями, железо которых невыносимо накалялось под лучами степного солнца и леденило зимою, причиняя раны и отморожения, ссыльные не были спускаемы с прута и на этапном пункте без крайней к тому нужды. Эта нужда наступала, лишь если товарищи по пруту приволокли с собою умирающего или тяжко больного, на которого брань, проклятия и даже побои спутников уже не действуют ободряющим образом. Иначе все остаются на пруте, спят прикованные к нему и при отправлении естественной нужды каждого присутствуют все остальные... Можно себе представить, сколько поводов для ссор, для драк даже подавало такое насильственное сообщество. И так двигались на пруте по России и по бесконечному сибирскому тракту много лет тысячи людей, разъединенных своею нравственною и физическою природою, но сливавшихся в одном общем чувстве бессильного озлобления и отчаяния...

**ГЛАВА ВТОРАЯ**

Картины русского тюремного быта, поражавшие Венинга и квакеров, изображенные ими в особых записках, написанных с твердостью и красноречием прямодушных и свободных людей, имели сильное влияние на Императора Александра I. Он с сочувствием принял предложенный Венингом в 1818 году проект образования в России Попечительного о тюрьмах общества, и 19 июля 1819 года такое общество было учреждено по всеподданнейшему докладу министра духовных дел и народного просвещения князя Голицына. В уставе общества, первым президентом которого был назначен тот же князь Голицын, цель и содержание деятельности общества были определены как нравственное исправление преступников и улучшение положения заключенных. Для этого общество должно было заботиться о введении и устройстве «по удобности» ближайшего и постоянного надзора над заключенными, размещении их по роду преступлений, наставлении их в правилах благочестия и доброй нравственности, занятии их приличными упражнениями и заключении буйствующих в уединенное место. Задача эта могла, однако, достигаться лишь отчасти и по большей части неудовлетворительно. Широкие и целесообразные начертания Екатерины II, изложенные в собственноручно ею написанном в 1787 году уставе о тюрьмах, не получили осуществления и, подобно знаменитому Наказу, остались в области благих пожеланий. Александр I, сочувствуя Венингу, тщательно исключил, однако, во время пребывания на Ахенском конгрессе из его проекта все, что касалось власти Попечительного общества по внутреннему устройству тюрем, оставив их по-прежнему в ведении Министерства полиции, от которого вполне зависела дальнейшая судьба представлений общества «о всем замеченном». Поэтому обществу, обреченному первоначально на чисто благотворительную деятельность, приходилось отказываться от исполнения большинства своих задач, встречая постоянное противодействие в загрубелой рутине начальства мрачных и безобразно устроенных острогов. Да и в лице своих президентов общество не всегда встречало сочувственное к себе отношение: государственный контролер барон Кампенгаузен, заменивший в 1822 году Голицына, писавший 19 сентября 1822 года в Грузино Аракчееву: «Дозвольте, мой милостивец, чтобы я Вас мог с чистого сердца поздравить с наступающей именинницей Вашей» (Настасьею Минкиною), говорит об обществе: «Мне теперь новые хлопоты чрез тюремное общество, не потому, чтобы дела оного были столь трудны, но потому, что трудно согласить пестрое сборище высокопарных философов, чувствительных филантропов, просвещенных дам и людей простодушных, так что иногда решаешься, дабы с ними только не совсем разладить, подписать и что-нибудь уродное...»

Чисто благотворительный характер комитетов Попечительного общества не мог, однако, удержаться долго. Самое понятие о попечении требовало не только надзора, но и заботы об улучшении — то есть деятельности созидающей. При невмешательстве комитетов во внутреннюю жизнь тюрьмы благотворение обратилось бы в сизифову работу. Моральные и даже материальные результаты благотворительности уничтожались бы в самом корне под влиянием тюремных порядков, представлявших, в сущности, организованный и растлевающий беспорядок. Правительство вскоре это сознало. Уже в 1827 году на комитеты Попечительного общества возложен сначала надзор, а потом и вся забота о продовольствии арестантов. Это был лишь первый шаг в деле придания деятельности комитетов управляющего характера, чему немало способствовало и то, что первое время не только во главе, но и в составе комитетов стояли люди, занимавшие высокое и влиятельное служебное положение, которое не приучило их к пассивной роли соболезнующих созерцателей. Они стремились осязательно проявить свою личность — и туманный облик благотворительного общества стал быстро принимать ясные очертания живого учреждения с определенным и весьма широким кругом практической деятельности. Благодаря такому направлению Попечительное о тюрьмах общество выполнило свою задачу с несомненной пользою. Если условия тюремной жизни, вызывавшие негодующие слова у Венинга, отчасти отошли в область невозвратного прошлого, если наша тюрьма из места напрасного мучительства и разврата путем постепенных, хотя и медленных, улучшений обратилась в свое настоящее состояние, соответствующее тем скромным средствам, которыми располагает по отношению к ней государственный бюджет, то этому она, конечно, прежде всего обязана постоянной и целесообразной работе тюремных комитетов. В последние годы деятельность Попечительного общества подвергалась у нас частой и суровой критике. Общество признавалось и было наконец признано отжившим свой век учреждением, в жизнь которого вторглись элементы бюрократического производства и канцелярской отписки. Все это, особливо же последнее, верно, и упреки, делаемые обществу, в значительной мере справедливы. Но все-таки не надо забывать и его заслуг. Оно — в той форме, которую представляло в последние годы своего существования, — отжило, но оно *жило*.

В Москве учреждение губернского тюремного комитета было разрешено 24 января 1828 года, по представлению и настоянию генерал-губернатора князя Дмитрия Владимировича Голицына. Люди разных партий и во всем противоположных мнений сходятся в высокой оценке ума и душевных качеств этого человека. Правнук воспитателя Петра Великого; сын замечательной по своему образованию и характеру дочери графа Чернышева («la princesse Moustache»[[2]](#footnote-2)), проведший свою юность в Париже, среди избранного французского общества, блиставшего тем возбуждением, которое предшествовало началу революции; слушатель в нескольких германских университетах; отважный в боях; независимый и не нуждавшийся ни в средствах, ни в службе; прямодушно преданный без искательства; властный без ненужного проявления власти; неизменно вежливый, приветливый и снисходительный; екатерининский вельможа по приемам, передовой человек своего времени по идеям — князь Д. В. Голицын пользовался полным доверием Императора Николая и нежною любовью москвичей.



*...князь Д. В. Голицын пользовался полным доверием Императора Николая и нежною любовью москвичей*

Он не мог не откликнуться на человеколюбивые планы Венинга, и вся первоначальная организация московского комитета есть дело его рук в самом буквальном смысле слова. Ряд постановлений и инструкций написан им лично; на множестве журналов комитета и на разных записках, туда представленных, есть масса его пометок, рассуждений, резолюций. Он входил во все, во все мелочи, излагая свои мнения, предположения и сомнения прекрасным, точным языком, красивым, беглым, немного женским почерком. Нельзя не удивляться энергии и умению находить время для занятия новым делом человека, по условиям своего звания державшего в руках бразды правления «сердцем России», которое в это время, воспрянув после наполеоновского погрома, билось со всею полнотою и силою обновленной жизни.

Назначенный вице-президентом московского комитета вместе с митрополитом Филаретом, Голицын был очень озабочен личным составом комитета. В делах последнего сохранился ряд его собственноручных списков с именами тех, кто, по его мнению, с пользою мог послужить делу тюремного преобразования в звании директора. Списки эти переделывались, проверялись. Из врачей в них предположено было внести знаменитого анатома Лодера, профессоров Мудрова и Рейса, докторов Поля и Гааза. Последний фигурировал во всех проектах и один остался в окончательном списке. Замечательно, что московский городской голова Алексей Мазурин, «принося совершеннейшую благодарность за милостивое к нему внимание», категорически отказался от звания директора и что то же самое сделали купцы Лепешкин и Куманин.

29 декабря 1828 года комитет был торжественно открыт князем Д. В. Голицыным. Составленная им речь лучше всего рисует его отношение к новой задаче и понимание им ее размеров. «Давно чувствовал я, милостивые государи, — сказал он, — необходимость лучшего устройства тюремных заведений в здешней столице посредством Попечительного комитета, уже существующего в Петербурге, но разные обстоятельства не дозволяли мне того исполнить... С помощью Божиею приступая ныне к открытию сего комитета, я в душе моей уверен, что от соединения взаимных трудов и усилий наших произойдут плоды, вожделеннейшие не только в отношении к обществу и нравственности, но и в отношении к самой религии, и что, может быть, мы будем столько счастливы, что найдем между заключенными в тюрьмах и таких, которые оправдают нашим попечением об них ту великую истину, что и *злейшие из преступников никогда не безнадежны к исправлению*...»

Но как бы широко ни были проникнуты человечностью взгляды Голицына на деятельность комитета, он один, сам по себе не мог бы еще многого сделать уже потому, что председательство в тюремном комитете составляло лишь одну из частиц, и притом весьма некрупных, всей совокупности его сложных обязанностей. Несмотря на теплое отношение к задачам комитета, он не мог даже председательствовать во всех его заседаниях, и его часто заменял митрополит Филарет.

Голицыным был лишь дан толчок, была указана возвышенная задача — но задача эта могла оказаться неисполнимою и тщетною, если бы не нашелся человек, посвятивший ей свою жизнь, начавший биться как сердце нового учреждения, давая чувствовать свои толчки во всех артериях его сложного организма.

Человек этот был Федор Петрович Гааз.

**ГЛАВА ТРЕТЬЯ**

Фридрих Иосиф (Федор Петрович, как называли его все в Москве) Гааз (Haas) родился 24 августа 1780 года близ Кельна, в старинном живописном городке Мюнстерейфеле, где его отец был аптекарем и где поселился, переехав из Кельна, его дед, доктор медицины.

Семья, в которой провел свое детство Гааз, была довольно многочисленная, состоя из пяти братьев и трех сестер. Несмотря на скромные средства его отца, все его братья получили солидное образование. Двое старших, окончив курс богословских наук, приняли духовный сан, двое младших пошли на службу по судебной части. Две сестры вышли замуж, а третья — Вильгельмина, прожившая в Москве десять лет (1822—1832) с братом, вернулась в Кельн, где заменила осиротелым детям одного из братьев их умершую мать. Она умерла в 1866 году, а в 1876 году умер, в возрасте восьмидесяти шести лет, и последний, младший из братьев Гааза, занимавший должность члена в кельнском апелляционном суде, как писала нам его племянница Анна Гааз от 2 ноября 1891 года. Воспитанник местной католической церковной школы, потом усердный слушатель курсов философии и математики в Йенском университете, Фридрих Гааз окончил курс медицинских наук в Вене, где в особенности занимался глазными болезнями под руководством пользовавшегося тогда большою известностью офтальмолога профессора Адама Шмидта. Призванный случайно к заболевшему русскому вельможе Репнину и с успехом его вылечивший, он вследствие уговоров своего благодарного пациента отправился с ним вместе в Россию и поселился с 1802 года в Москве.

Любознательный, энергический и способный молодой врач скоро освоился с русскою столицею и приобрел в ней большую практику. Его приглашали на консультации, ему были открыты московские больницы и богоугодные заведения. Обозревая их в 1806 году, он нашел в Преображенском богаделенном доме множество совершенно беспомощных больных, страждущих глазами, и принялся с разрешения губернатора Ланского за их безвозмездное лечение. Успех этого врачевания был огромный и всеми признанный, последствием чего явилось настойчивое желание привлечь молодого и искусного доктора на действительную службу, так что уже 4 июня 1807 года контора Павловской больницы в Москве получила приказ, в котором, между прочим, говорилось: «По отличному одобрению знания и искусства доктора медицины Гааза как в лечении разных болезней, так и в операциях Ее Императорское Величество (Императрица Мария Федоровна) находит его достойным быть определену в Павловской больнице над медицинскою частью главным доктором... и Высочайше соизволяет сделать по сему надлежащее распоряжение, а его, Гааза, *заставить вступить в сию должность немедленно*... что же касается до того, что он российского языка не умеет, то он может оного выучить скоро, столько, сколько нужно будет по его должности, а между тем с нашими штаб-лекарями он может изъясняться по-латыни...»

Вступив в должность старшего врача, Гааз не оставил своих забот о страдающих глазами и постоянно посещал их в различных заведениях Москвы. Особенно многих пришлось ему лечить в Екатерининском богаделенном доме, за что по представлению Ланского ему был дан Владимирский крест IV степени, который он впоследствии очень ценил как воспоминание о первых годах его деятельности в России.

В 1809 и 1810 годах Гааз совершил две поездки на Кавказ для ознакомления с тамошними минеральными водами. Выхлопотать себе право на эти поездки стоило ему немалого труда. Вторая поездка была ему разрешена лишь в виде исключения и с тем, что, как сказано в приказе по больнице 31 мая 1810 года, он «сей просьбы впредь повторять не будет». Но польза, принесенная этими поездками, была все-таки сознана, и притом скоро, так как уже 22 февраля 1811 года статс-секретарь Молчанов уведомил министра полиции о производстве Гааза в надворные советники вследствие обращения Государем особого внимания на отличные способности, усердие и труды доктора Гааза «не токмо в исправлении должности в Павловской больнице, но и неоднократно им оказанные во время пребывания при кавказских целительных водах».



*...Гааз совершил две поездки на Кавказ для ознакомления с тамошними минеральными водами*

Описание своего пребывания на Кавказе и предпринятых там работ Гааз изложил в превосходно изданной им в 1811 году книге: «Ma visite aux eaux d’Alexandre»[[3]](#footnote-3) (большой in quarto[[4]](#footnote-4), 365 страниц), составляющей ныне крайнюю редкость, ибо большая часть ее экземпляров погибла при пожаре Москвы. Пребывание Гааза на Кавказе было весьма плодотворно. Драгоценнейшие источники, пользование которыми и до последнего времени благодаря бюрократической инерции не было поставлено в надлежащие культурные условия, в начале нынешнего столетия находились в полном забросе и пренебрежении. Когда в ноябре 1800 года генерал-лейтенант Кнорринг доносил о мерах, которые предприняты им для охранения и ограждения от горцев теплых и кислых вод около Константиногорска, полезных для излечения «от ломотных и скорбутных болезней», то он получил в ответ рескрипт Императора Павла от 15 декабря 1800 года, в котором говорилось, что «издержки и вспомоществование со стороны войск, для содержания сих колодцев надобные, не соответствуют той пользе, которую от них ожидать можно, тем паче что в государстве разные таковые колодцы мы имеем; все сие решило меня вам предписать оставить сие предприятие впредь до удобного времени...».

Труды Гааза по исследованию и изучению этих вод были столь обильны результатами, что знаток истории этих вод доктор Святловский предлагает даже назвать первый период этой истории, с 1717 по 1810 год, ПетровскоГаазовским, так как еще Петр, каждый след которого, по выражению поэта, «для сердца русского есть памятник священный», во время Персидского похода приказал лейб-медику Шоберу обратить внимание на горячие «бештаугорские ключи». Достаточно сказать, что Гааз не только впервые систематически и научно исследовал и описал одно из богатых природных достояний России, но и лично открыл серно-щелочной источник в Ессентуках, обозначенный в 1823 году номером 23, и ряд целебных ключей в Железноводске. Профессор Нелюбин, автор обширного труда «Полное описание кавказских минеральных вод» (1825), считающегося доселе одним из выдающихся, говорит: «Доктор Гааз во время пребывания своего на кавказских водах произвел в Константиногорске (ныне Железноводск) химическое исследование над тремя серными источниками Машука... Да дозволено мне будет с особенным уважением и признательностью упомянуть о трудах доктора Гааза и профессора Рейса: оба они по всей справедливости оказали большую услугу минеральным водам — первый своими врачебными наблюдениями, а последний — химическим разложением вод; в особенности же должно быть благодарным Гаазу за принятый им на себя труд исследовать, кроме главного источника, еще два серных ключа на Машуке и один на Железной горе, которые до того времени еще никем не были испытаны. Сочинение, изданное Гаазом по сему предмету, принадлежит, без сомнения, к первым и лучшим в своем роде».

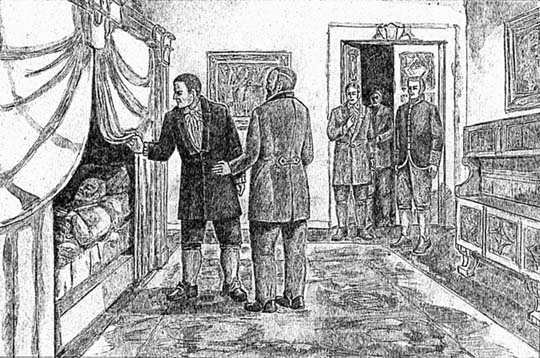
Сделанное Гаазом описание вод, содержа в себе массу химических, топографических и метеорологических наблюдений, изобилует живыми изображениями природы и условий жизни на Кавказе. Глубокое уважение к науке и негодование на ее недостойных служителей звучит в книге Гааза наравне с отголосками его обширного философского образования. Частые цитаты из Шеллинга и Бэкона и разнообразные исторические ссылки свидетельствуют, что автор не односторонний знаток только своего специального дела, что он к тридцатым годам своей жизни уже многое передумал и перечувствовал. «Aucune chose n’est médicament en elle même; toute chose peut le devenir par la manière de l’appliquer à l’organisme; tout médicament peut devenir poison dans certains états de l’organisme — et par certaines manières de l’employer», — говорил он. «La médecine, — продолжал он далее, — est la science, qui recherche le rapport qui existe entre les différentes substances de la nature et entre les différents états du corps humain. La médecine est *la reine des sciences*. Elle l’est non parce que la vie, qu’elle soigne, est une chose si charmante et si chère aux hommes; elle l’est parce que la santé de l’homme est la condition sans laquelle rien ne se fait de grand et de beau dans le monde; parce que la vie en général, que la médecine contemple, est la source, la fin et la règle de tout; parce que la vie, dont la médecine est la science, est l’essence même, dont toutes les autres sciences sont des attributs, des émanations, des différents reflets»[[5]](#footnote-5).

Ставя чрезвычайно высоко деятельность врача, Гааз тут же прибавляет: «Mais nous répudions comme membres de cet art sacré, les personnes mercenaires, qui par une prévarication ignoble, sacrifient également le salut des malades à leur orgueil et à leur cupidité — et leur propre honneur aux caprices humiliants des malades bienportants»[[6]](#footnote-6). Свое высокое мнение о звании врача Гааз выразил, впрочем, еще раньше, написав в 1806 году в альбом своего товарища по университету Эрлевейна: «Was der Mensch unter den Producten der Natur ist, das ist der Arzt unter den Gelehrten»[[7]](#footnote-7).

Не имея возможности даже в кратком очерке изложить интереснейшее содержание книги Гааза, мы приведем лишь одно место из нее, приобретающее особое значение ввиду дальнейшей деятельности автора, наполнившей всю вторую половину его жизни. «Человек, — говорит он, — редко думает и действует в гармоническом соответствии с тем, чем он занят; образ его мыслей и действий обыкновенно определяется совокупностью обстоятельств, отношение коих между собою и влияние на то, что он называет своим решением или своею волею, ему не только не известны, но и вовсе им не сознаются. Признавать эту зависимость человека от обстоятельств не значит отрицать в нем способность правильно судить о вещах сообразно их существу или считать за ничто вообще волю человека. Это было бы равносильно признанию человека — этого чудного творения — несчастным автоматом. Но указывать на эту зависимость необходимо уже для того, чтобы напомнить, как редки между людьми настоящие люди. Эта зависимость требует снисходительного отношения к человеческим заблуждениям и слабостям. В этом снисхождении, конечно, мало лестного для человечества, но упреки и порицания по поводу такой зависимости были бы и несправедливы, и жестоки».

Оставивши службу 1 июня 1812 года, он вновь вступил в нее в 1814 году и, будучи зачислен вначале в действующую армию, был под Парижем, а затем, выйдя по окончании войны в отставку, отправился в Мюнстерейфель, где, как сообщает нам племянница его Анна Гааз в письме от 22 марта 1891 года, застал всю семью в сборе у постели умирающего отца. Старик был радостно тронут неожиданным свиданием. «Ныне отпущаеши, Господи, раба твоего с миром», — повторял он, благословляя сына, на руках которого и умер. Пребывание на родине продолжалось, однако, недолго. Гааза неудержимо тянуло в страну, где он уже начал работать на общую пользу. Он вернулся в Россию — и, вполне овладев русским языком, слился душою с русским народом, поняв и полюбив его. Первое время он не поступал на службу, а занимался частною практикою, которая вскоре приняла обширные размеры. Гааз сделался одним из самых видных врачей Москвы. Несмотря на полное отсутствие корысти, он в силу своего положения явился обладателем весьма хороших средств. Его постоянно приглашали на консультации, с ним приезжали советоваться издалека. В 1821 году Сабанеев пишет на Кавказ Ермолову, уговаривая последнего приехать в Москву, чтобы посоветоваться о своих недугах с Гаазом.

Вскоре, однако, Гаазу снова пришлось поступить на службу. В ведении московской медицинской конторы находилась запасная аптека, снабжавшая медикаментами армию в 300 тысяч человек, а также 30 госпиталей и больниц. Вследствие вопиющих злоупотреблений в ее управлении и содержании штадт-физик был смещен, и министр внутренних дел рекомендовал генерал-губернатору избрать на эту должность «достойного». Князь Голицын обратился к Гаазу, который долго отказывался, «будучи удерживаем мыслью о своих несовершенствах», но наконец принял звание штадт-физика 14 августа 1825 года, тотчас же деятельно принялся за вопросы о различных преобразованиях по медицинской части столицы и повел горячую войну с мертвящею апатиею, которую встретил в своих сослуживцах по медицинской конторе. Новое, живое отношение его к задачам медицинской администрации столицы неприятно тревожило их спокойствие и колебало прочность их взглядов и приемов. Пошли пререкания, жалобы, доносы. В них Гааз выставлялся неспокойным, неуживчивым человеком, утруждающим начальство разными вздорными проектами. По благородной привычке, не забытой и до сих пор, припевом ко всем на него нареканиям явилось его нерусское происхождение и то, что за ним не было долгих непрерывных лет «хождения в присутствие». Повторилась обычная история. Сплотившиеся в общем чувстве ненависти и зависти к новатору, да еще и «немцу», ничтожества одолели в конце концов Гааза. Отстаивая свои планы и предположения, оправдываясь с достоинством и твердостью сознаваемой правоты, штадт-физик, однако, чeрез год должен был признать, что не в силах ничего сделать с бюрократическою рутиною и недоброжелательством.



*...застал всю семью в сборе у постели умирающего отца*

Он предлагал, например, упорядочить продажу «секретных» средств и облегчить русским изобретателям возможность применения и сбыта придуманных или найденных ими полезных средств. Ему отвечали, что*на сей предмет уже существуют надлежащие и достаточные законоположения*. Представляя полицейские сведения о скоропостижно умерших в 1825 году в Москве (всего в течение года 176, в том числе от «апоплексического кровомокротного удара вследствие грудной водяной болезни» — 2) и совершенно основательно ввиду ряда приводимых им примеров предполагая, что большинство из них умерло от несвоевременно поданной помощи и даже от полного ее отсутствия, он предлагал просить об учреждении в Москве особого врача для наблюдений за организациею попечения о внезапно заболевших, нуждающихся в немедленной помощи — по примеру Гамбурга, где в продолжение восемнадцати лет, начиная с 1808 года, спасено из 1794 близких к скоропостижной смерти 1677 человек. Контора отвечала ему постановлением о том, что мера эту излишня и бесполезна, ибо при каждой части города Москвы есть уже *положенный по штату лекарь*. Указывая, что в 1815 году было упразднено в Екатерининской больнице 50 кроватей для крепостных помещичьих людей, вследствие отказа установить плату с владельцев таких больных по 5 рублей ассигнациями в месяц, и что вследствие этого с 1822 по 1825 год отказано в приеме 2774 больным, некоторые из коих были брошены на улице и там скончались, Гааз, ссылаясь на увеличение средств Приказа общественного здравия, просил контору хлопотать о восстановлении упраздненных кроватей, «будучи далек от безнадежности хотя бы и чрез сие малое пособие предуготовить помощь некоторым из великого числа страждущих». Ему отвечали лаконическою отпискою, что о представлении его будет доведено до сведения по принадлежности. Испуганный результатом оспенного заражения в Москве, он входил в контору с подробною запискою о ряде практических мер и необходимых средств к успешному введению оспопрививания, встречавшего постоянные препятствия в апатическом и недобросовестном отношении к нему местных врачей и иных начальств и в «предрассудках многих людей, будто несообразно природе человеческой заимствовать оспенную материю от животного, опасаясь от сего какого-то повреждения в здоровье и даже некоторого худого влияния на самую нравственность». Записка сопровождалась «прожектом» и различными потребовавшими усидчивого труда табелями и реестрами. Ему отвечали постановлением об отсылке записки *по принадлежности*, с присовокуплением мнения, что по предмету оспопрививания *уже существуют надлежащие законные постановления*. Наконец, его тревожил нецелесообразный и противоречащий элементарным понятиям о душевных болезнях порядок освидетельствования сумасшедших, к сожалению сохранивший многие свои ненормальные стороны и до сих пор. Нужно требовать, утверждал он, предварительных сведений от родных, повествующих о жизни свидетельствуемого, характере и признаках болезни, нужно подвергать его предварительному испытанию чрез врачей, а нельзя прямо, внезапно, без всяких сведений о прошлом ставить человека «подчиненного или меньшего звания» пред «первейшими лицами губернского правительства», не рискуя смутить его, принудить к молчанию и вообще лишить возможности сохранять свое умственное спокойствие, тем более что и члены физиката, люди, подчиненные губернатору, «сами часто бывают объяты к последнему чувством, мешающим заняться с полным вниманием и свободою больным, которому они поэтому же не внушают и доверия». Предлагая ряд правил, быть может, нелишних и теперь, чрез восемьдесят лет, и гарантирующих научность и независимость в исследовании состояния предполагаемых сумасшедших, Гааз просил медицинскую контору «взять его мнение в рассуждение». Контора не нашла, однако, представление это достойным «взятия в рассуждение», а ограничилась препровождением его гражданскому генерал-штабдоктору.

Таким образом, канцелярская трясина засасывала почти каждое мнение или начинание «беспокойного» штадт-физика, отвечая на них своего рода указаниями вроде занесенного в протокол замечания инспектора медицинской конторы Добронравова о том, что «конторе неизвестно, *какими путями* достиг, будучи *иноземцем*, доктор Гааз чинов». Объяснив в официальном письме на имя инспектора, что еще 1 марта 1811 года Императрица Мария Феодоровна уведомила рескриптом главного директора Павловской больницы, что, «уважая искусство и рвение доктора Гааза, она испросила у Императора, Любезнейшего своего Сына, пожалование ему чина надворного советника в ожидании, что он тем поощрится к усугублению ревностного своего старания», Гааз прибавляет: «С тех пор уже шестнадцать лет я посвятил все свои силы на служение страждущему человечеству в России, и если чрез сие не приобрел некоторым образом права на усыновление, как предполагает г-н инспектор, говоря, что я иноземец, то я буду весьма несчастлив...» 27 июля 1826 года своеобразное патриотическое чувство г-на Добронравова получило полное удовлетворение: иноземец оставил должность штадт-физика. Но его недругам этого было мало. Они хотели оставить ему прочное о себе воспоминание. Ввиду того что в запасной аптеке оказался испорченным от сырости огромный запас ревеня (медикамента очень ценного), Гааз предпринял с разрешения генерал-губернатора ремонт здания, стоивший 1502 рубля, и устроил при этом сверх сметы блок для поднятия ревеня в верхние этажи и чуланчики при помещении служащих. Это послужило к возбуждению переписки «о незаконном израсходовании бывшим штадт-физиком Гаазом 1502 рублей», которая, несмотря на письменное обязательство его уплатить эту сумму из собственных денег, если бы выдача не была утверждена начальством, длилась, причиняя ему много волнений и неприятностей, *девятнадцать лет* и окончилась признанием его действий вполне правильными. Цель отомстить честному человеку, уязвив его в самое больное место, была достигнута.

Оставив медицинскую контору, Гааз снова предался частной практике, отзываясь на всякую нужду в нем как в медике. Так, еще в конце 1826 года московский комендант доносил генерал-губернатору, что развившаяся с чрезвычайною силою в московском отделении для кантонистов эпидемическая глазная болезнь прекращена лишь благодаря энергии и знаниям нарочито приглашенного известного специалиста доктора Гааза.

В это время ему было сорок семь лет; он постоянно носил костюм своих молодых лет, напоминавший прошлое столетие, — фрак, белое жабо и манжеты, короткие, до колен, панталоны, черные шелковые чулки, башмаки с пряжками; пудрил волосы и собирал их сначала сзади в широкую косу с черным бантом, а затем, начав сильно терять волосы, стал носить небольшой рыжеватый парик; ездил по тогдашней моде цугом, в карете, на четырех белых лошадях. Обладая в Москве домом и подмосковным имением в селе Тишках, где он устроил суконную фабрику, Гааз вел жизнь серьезного, обеспеченного и пользующегося общественным уважением человека. Он много читал, любил дружескую беседу и состоял в оживленной переписке со знаменитым Шеллингом.

К этому-то человеку обратился князь Д. В. Голицын, набирая первый состав московского Попечительного о тюрьмах комитета. Гааз ответил на приглашение горячим письмом, кончая его словами: «Simplement et pleinement je me rends à la vocation de membre du comité des prisons»[[8]](#footnote-8). И действительно, поняв свое новое призвание, он отдался ему вполне, начав с новою деятельностью и новую жизнь. Назначенный членом комитета и главным врачом московских тюрем и занимая с 1830 по 1835 год должность секретаря комитета, он приступил к участию в действиях комитета с убеждением, что между *преступлением, несчастием и болезнью* есть тесная связь, что трудно, а иногда и совершенно невозможно отграничить одно от другого и что отсюда вытекает и троякого рода отношение к лишенному свободы. Необходимо *справедливое*, без напрасной жестокости отношение к *виновному*, деятельное *сострадание* к *несчастному* и *призрение больного*. Выше было указано, что положение вещей при открытии тюремных комитетов было совершенно противоположное. За виновным отрицались почти все человеческие права и потребности, больному отказывалось в действительной помощи, несчастному — в участии.

С этим положением вещей вступил в открытую борьбу Гааз и вел ее всю жизнь. Его ничто не останавливало, не охлаждало — ни канцелярские придирки, затруднения и путы, ни косые взгляды и ироническое отношение некоторых из председателей комитета, ни столкновение с сильными мира, ни гнев всемогущего графа Закревского, ни даже частые и горькие разочарования в людях... Из книги, изданной после его смерти («Appel aux femmes»[[9]](#footnote-9)), он вещает: «*Торопитесь делать добро!*» Слова эти были лозунгом всей его дальнейшей жизни, каждый день которой был живым их подтверждением и осуществлением.

Увидав воочию положение тюремного дела, войдя в соприкосновение с арестантами, Федор Петрович, очевидно, испытал сильное душевное потрясение. Мужественная душа его не убоялась, однако, горького однообразия представившихся ему картин, не отвернулась от них с трепетом и бесплодным соболезнованием. С непоколебимою любовью к людям и к правде вгляделся он в эти картины и с упорною горячностью стал трудиться над смягчением их темных сторон. Этому труду и этой любви отдал он все свое время, постепенно перестав жить для себя. С открытия комитета до кончины Федора Петровича, в течение почти двадцати пяти лет, было всего двести девяносто три заседания комитета — и в них он отсутствовал только один раз, да и то мы увидим, по какому поводу. И в журнале каждого заседания как в зеркале отражается его неустанная, полная энергии и забвения о себе деятельность. Чем дальше шли годы, чем больше накоплялось этих журналов, тем резче изменялись образ и условия жизни Гааза. Быстро исчезли белые лошади и карета, с молотка пошла оставленная без хозяйского глаза и заброшенная суконная фабрика, бесследно продана была недвижимость, обветшал оригинальный костюм, и когда в 1853 году пришлось хоронить некогда видного и известного московского врача, обратившегося, по мнению некоторых, в смешного одинокого чудака, то оказалось необходимым сделать это на счет полиции...

**ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ**

Обязанный по должности своей сразу иметь дело и с тюремной статикой, и с тюремной динамикой, Гааз тотчас же прозрел сквозь загрубелые черты арестанта не стираемый преступлением образ человека, образ существа, представляющего физический и нравственный организм, которому доступно страдание. На уменьшение этого двоякого страдания он и направил свою деятельность.

Каждую неделю раз, а иногда и два отправлялась из Москвы партия ссылаемых в Сибирь. Пересыльная тюрьма была устроена в странном месте. На правом берегу Москвы-реки, против Девичьего поля и знаменитого монастыря, холмистою грядою возвышаются так называемые Воробьевы горы. Почти вся Москва видна с них, со своими многочисленными церковными главами, башнями и монументальными постройками. На них-то хотел Император Александр I воздвигнуть храм Спасителю по обету, данному в манифесте, возвестившем в 1812 году русскому народу, что «последний неприятельский солдат переступил границу». Громадный храм по проекту молодого, мистически настроенного художника Витберга должен был состоять из трех частей, связанных между собою одною общею глубокою идеею. Начинаясь колоннадами от реки, храм образовывал сначала нечто вроде полутемной колоссальной гробницы, иссеченной в горе и хранящей в своих недрах останки героев двенадцатого года, затем от этого царства смерти он переходил в светлый и богато украшенный храм жизни, увенчанный в свою очередь храмом духа, строгим и прозрачным, покрытым колоссальным куполом. Неопытный в жизни, доверчивый и непрактичный Витберг сделался жертвою злоупотреблений и хищничества окружавших его техников-строителей и подрядчиков. Постройка храма стала обходиться так дорого, что проект показался невыполнимым. Витберг был отдан под суд, работа на Воробьевых горах брошена, и храм Спасителя возник гораздо позже на своем теперешнем месте. Но от обширного предприятия остались различные постройки, начатые стены, мастерские, казармы для рабочих, кузницы и т. п. Их решено было утилизировать и приспособить к устройству пересыльной тюрьмы. Так возникла та тюрьма на Воробьевых горах, с которою неразрывно связал свое имя Гааз.

Через московскую пересыльную тюрьму шли арестанты, ссылаемые из двадцати четырех губерний, и число их в 30-х и 40-х годах никогда не было менее 6000 человек в год. Так, например, в 1846 году прошло через московскую пересыльную тюрьму в Сибирь и в другие губернии арестантов военных и гражданских, не считая следовавших «под присмотром», 6760 человек, в 1848 году — 7714, в 1850 году — 8205. В некоторые годы число пересылаемых под влиянием особых временных обстоятельств очень увеличивалось, и этапу приходилось работать усиленно. Так, из отчета штаб-лекаря Гофмана о числе задержанных для справок и по болезням в московской пересыльной тюрьме в 1833 году видно, что всех пересылаемых в этом году было 18 147 человек, из которых *арестантов* 11 149 (мужчин — 10 423, женщин — 726) и пересылаемых *не в роде арестантов* — 6998 (мужчин — 6971, женщин — 27). Вообще с 1827 года по 1846 год в одну Сибирь из России препровождено через Москву 159 755 человек, не считая детей, следовавших за родителями.

Принявшись горячо за исполнение обязанностей директора комитета и получив под свое наблюдение, между прочим, и пересыльную тюрьму, Гааз сразу пришел в соприкосновение со всею массою пересылаемых, и картина их физических и нравственных страданий, далеко выходивших за пределы установленной законом даже и для осужденных кары, предстала ему во всей своей яркости. Прежде всего, как и следовало ожидать, его поразило *препровождение ссыльных на пруте*. Он увидел, что тягости пути обратно пропорциональны признанной судом вине ссылаемых, ибо в то время, когда важнейшие преступники, отправляемые на каторгу, свободно шли в ножных кандалах, подвешивая их к поясу за среднее кольцо, соединявшее ножные обоймы цепи, — менее важные, шедшие на поселение, нанизанные на прут, стесненные во всех своих движениях и естественных потребностях, претерпевали в пути всевозможные муки и были лишены всякого отдыха при остановке на полуэтапах вследствие лишения единственного утешения узника — спокойного сна. Он услышал слезные мольбы *ссыльнопоселенцев*, просивших как благодеяния обращения с ними как с *каторжными*. Он нашел также прикованными к пруту не одних осужденных, но, на основании статьи 120 Устава о ссыльных, том XIV (изд. 1842 года), и препровождаемых «под присмотром», то есть пересылаемых административно на место приписки или жительства, просрочивших паспорта, пленных горцев и заложников, отправляемых на водворение в северные губернии (журналы комитета за 1842 год), беглых кантонистов, женщин и малолетних и вообще массу людей, шедших, согласно оригинальному народному выражению, «по невродии» (то есть, говоря словами закона, не в роде арестантов). Он нашел также между ними не только ссылаемых в Сибирь по воле помещиков, но даже и препровождаемых на счет владельцев принадлежащих им людей из столиц и других городов до их имений, то есть, вернее, до городов тех уездов, где состояли имения, причем внутренняя стража вела и их «в ручных укреплениях».



*...нанизанные на прут, стесненные во всех своих движениях и естественных потребностях, претерпевали в пути всевозможные муки и были лишены всякого отдыха при остановке на полуэтапах...*

«Я открыл, — писал Гааз комитету в 1833 году, — в диалектике начальников внутренней стражи изречение «иметь присмотр», которое в переводе на простой язык конвойных значит «ковать и содержать как последних арестантов», а по толкованию самих арестантов значит «заковывать еще строже, чем каторжных...» С тревогой и негодованием сознал он, что по Владимирке постоянно, со стоном и скрежетом, направляются, непрерывно возобновляясь, эти подвижные ланкастерские школы взаимного обучения ненависти друг к другу, презрению к чужим страданиям, забвению всякого стыда и разврату в слове и в деле!..

Но Гааз не принадлежал к людям, которые принимают совет «отойти от зла и сотворить благо» в смысле простого неучастия в творимом другими зле, — его восприимчивая душа следовала словам поэта: «Не иди во стан безвредных, когда полезным можешь быть». Он тотчас же забил тревогу по поводу прута, начав против этого орудия пытки борьбу, длившуюся с настойчивою и неостывающею ненавистью с октября 1829-го многие годы подряд. Он нашел себе союзника и влиятельного истолкователя в князе Д. В. Голицыне. Представления и рассказы Гааза подействовали решительным образом на этого благородного и доступного голосу житейских нужд человека.

Уже 27 апреля 1829 года в предложении комитету по поводу различных заявлений Гааза Голицын высказал полное сочувствие его мысли об отмене пересылки на пруте и выразил твердое намерение войти об этом в сношение с министром внутренних дел. В походе, предпринятом затем по почину Гааза, князю Голицыну пришлось встретиться и с личным недоброжелательством, и с медлительностью канцелярской рутины, и с противопоставлением ложных интересов и самолюбивого упорства отдельных ведомств требованиям общественной пользы, справедливости и человеколюбия. Нужно было много энергии и любви к правде, чтобы во время долгой и томительной переписки о пруте на месте Гааза не впасть в уныние, на месте князя Голицына — не махнуть на весь вопрос рукою.

Сообщение московского генерал-губернатора министру внутренних дел Закревскому о невозможности применять прут к препровождению арестантов, ибо «сей образ пересылки крайне изнурителен для сих несчастных, так что превосходит самую меру возможного терпения», сразу оскорбило несколько самолюбий. Закревскому не могло нравиться, что московский генерал-губернатор возбуждает *общий вопрос*, не имеющий прямого отношения к Москве, и таким образом как бы указывает министру внутренних дел на недосмотры и непорядки в области его исключительного ведения. С другой стороны, заведование арестантами во время пути лежало на чинах отдельного корпуса внутренней стражи, находившегося под высшим начальством военного министра графа Чернышева, которому не по душе были не только вмешательства князя Голицына в действия этапных команд при пересылке арестантов, но и сам князь Голицын, представлявший как личность так мало с ним сходства. Наконец, был еще человек, выступивший передовым и упорным бойцом против Голицына и Гааза. Это был генерал Капцевич, командир отдельного корпуса внутренней стражи. Оригинальная личность его, оставившая глубокий след на русской тюремной динамике, заслуживала бы подробного изучения хотя бы с точки зрения противоположностей, могущих уживаться в душе русского человека, вокруг добрых и даже трогательных свойств которой постепенно нарастает кора упорного служебного бездушия. Сослуживец Аракчеева при Цесаревиче Павле Петровиче и заботливый до нежности начальник солдат; суровый и резкий в обращении с подчиненными и теплый, отзывчивый и человечный первоначальный страж декабристов в Сибири; ходатай и заступник за ссыльных как западносибирский генерал-губернатор и черствый формалист по отношению к ним же в качестве командира внутренней стражи, Капцевич с мрачною подозрительностью относился в конце 20-х годов к деятельности и задачам тюремных комитетов и встретил «затею» Голицына, за которым, как ему было известно, стоял Гааз, вполне враждебно. Но прямо отвергнуть все, что писал Голицын о пруте, и сказать ему в форме «оставления без последствий»: не мешайся не в свое дело! — было невозможно. Он был слишком сильный человек и мог перенести свою распрю на решительный и бесповоротный суд Императора Николая, который верил ему и в него... Но можно было затянуть дело, направив его в русло канцелярской переписки, и на красноречивые строки Голицына, проникнутые великодушным нетерпением, ответствовать бюрократическим измором.

Так и было сделано. У Закревского в распоряжении могли быть живые и независимые свидетели того, что такое на практике «легкий» прут генерала Дибича. Но не к ним обратился он с запросом. Взгляд московского генерал-губернатора был подвергнут критике этапных начальников. Они, для которых прут, во всяком случае, не представлял ничего стеснительного, были спрошены о том, удобны ли прутья и правду ли пишет князь Голицын об их изнурительности. Капцевич, которому было подчинено этапное начальство, получивши коварные вопросы Закревского, добавил к ним еще одну подробность. Он спрашивал уже не о том, бывали ли в действительности случаи, описанные в сообщении Голицына, но и о том, почему же, если только случаи эти существовали, не было о том доносимо главному начальству? При этом, поставив пред вопрошаемыми альтернативу — или отрицать случаи неудобства прута, или признать себя виновными в умолчании о них, — он интересовался знать, какие, по мнению этапного начальства, могут быть приняты меры к облегчению препровождаемых арестантов. Ему отвечали не торопясь. По отзывам начальников этапных команд, как и следовало ожидать, оказалось, что все обстоит благополучно и никаких неудобств от заковки на прут не представляется. При этом, однако, проскальзывали замечания о том, что у арестантов от прута *больших* ран не замечено, но что от кольца при пруте тело может ознобиться, отчего делаются раны и знаки. Вместе с тем явились и предложения замены прута. Предложено было приделать к пруту короткие цепи с ошейниками или заменить прут цепью в семь вершков, с прикрепленными к ней малыми цепями по три вершка, с наручниками. Так прошел почти год... Тогда князь Голицын вновь выступил против прута в особой записке, поднесенной им уже самому Государю и содержащей сжатое, но сильное описание всех тяжелых сторон этого способа пересылки, без сомнения неоднократно описанных ему Гаазом, вглядевшимся на Воробьевых горах во все его свойства и последствия. Но и эта записка, переданная Капцевичу, не подействовала на него. Единственная уступка, на которую уже в 1831 году согласился он, состояла лишь в признании возможным заменить прут семивершковою цепью с наручниками... Таким образом, все дело сводилось к тому, чтобы *неподвижный прут* заменить *подвижною цепью*, оставив на ней по-прежнему нескольких человек во всей тяжкой обстановке их насильственного сцепления друг с другом. Взгляд его был разделен Военным советом, и для опыта с предлагаемыми им цепями разослано по этапам 47 цепей, каждая на три пары арестантов. Опыт, по заявлениям этапных начальников, оказался удачным, и в 1832 году по постановлению Комитета министров, рассмотревшего представление Закревского о введении предложенной Капцевичем цепи, эти цепи были введены в повсеместное употребление, для чего немедленно было изготовлено 4702 цепи, каждая на три пары... Прут изменил лишь свое имя, и, хотя Голицын еще несколько раз заявлял о его вреде, он продолжал свое существование до тех пор, пока благодаря энергичным трудам Милютина и графа Гейдена введение перевозки арестантских партий по железным дорогам и водою не изменило коренным образом и самых приемов препровождения ссыльных.

*Общий вопрос*, поднятый Голицыным и Гаазом, был похоронен, и достоинство ведомства, имевшего ближайшее отношение к ссыльным, сохранено во всей своей печальной неприкосновенности... Но этот общий вопрос был в то же время и *местным* вопросом для Воробьевской тюрьмы. Там действовал и чувствовал Гааз, продолжавший невзирая ни на что «гнуть свою линию».

Убежденный в правильности своего взгляда и не желая дожидаться окончания переписки о пруте, которая казалась ему одною лишь формальностью, Гааз в 1829 году принялся за опыты над такою заменою прута, которая устранила бы обычные нарекания в облегчении возможности побега. Прежде всего надо было освободить руки арестантам и ссыльным и сравнять их в этом отношении с приговоренными к каторжным работам, которые шли в ножных кандалах. Но их кандалы были тяжелы. Они были разного размера, длиною от одиннадцати вершков до одного аршина и четырех с половиной вершков и весом от четырех с половиной до пяти с половиной фунтов (списки ссыльных арестантов 17 и 24 июня 1829 года). Гааз занялся наблюдениями за изготовлением кандалов, облегченных до крайней возможности не в ущерб своей прочности. После ряда руководимых им опытов удалось изготовить кандалы с цепью длиною в аршин и весом три фунта, получившие затем в тюремной практике и в устах арестантов название *газовских*. В этих кандалах можно было пройти большое пространство, не уставая и поддев их к поясу. Когда кандалы были готовы и испытаны самим Гаазом, он обратился к комитету с горячим ходатайством о разрешении заковывать в эти кандалы всех проходящих чрез Москву на пруте. Он в патетических выражениях рисовал положение прикованных, указывал на самоволие конвойных солдат, на жалкую участь «идущих под присмотром» и без вины караемых препровождением на пруте, представлял средства для заказа на первый раз новых кандалов, обещал именем «добродетельных людей» доставление этих средств и на будущее время и объяснял, что для изготовления облегченных кандалов можно приспособить кузницу, оставшуюся на Воробьевых горах от построек Витберга. Слова Гааза, подтверждаемые самым вопиющим образом видом каждой этапной партии, встретили сочувственный отголосок в князе Голицыне, который решил «у себя» не стесняться более петербургскими проволочками. В декабре 1831 года он предложил комитету принять немедленно меры к приспособлению кузницы, оставшейся от Витберга, для перековки арестантов по указаниям доктора Гааза и к переделке кандалов по новому образцу, представленному тем же Гаазом. Комитет, в заседании 22 декабря приняв к исполнению предложение генерал-губернатора, просил его в свою очередь предписать командующему внутренним гарнизоном в Москве и приказать начальникам местных этапных команд не препятствовать исправлению кандалов под руководством доктора Гааза и наложению их на пришедших в Москву на пруте арестантов.

Таким образом, без шума, без всякой переписки по инстанциям прут оказался фактически уничтоженным в Москве благодаря смелому почину влиятельного генерал-губернатора, умевшего среди окружавшей его роскоши и обаяния власти найти время, чтобы серьезно задуматься над страданиями людей, за которых среди общего жестокого равнодушия предстательствовал уроженец чужой страны, чутко привлеченный им к делу тюремного благотворения.

Пересылаемые встретили нововведение Гааза с восторгом, но для того, чтобы оно могло удержаться, чтобы вызванная князем Голицыным готовность содействовать ему не охладела и по нашей всегдашней привычке не перешла в апатию и в то, что князь В. Ф. Одоевский характеризовал в своей записной книжке словом *рукавоспустие*, нужно было энергически следить за делом на месте, не уставая и не отставая. Это и делал Гааз. Целые дни проводил он на Воробьевых горах, наблюдая за устройством кузницы, и затем в течение всей своей жизни, за исключением последних ее дней, не пропускал ни одной партии, не сняв кого только возможно с прута и с цепи Капцевича и не приказав перековывать при себе в свои кандалы. Ни возраст, ни упадок физических сил, ни постоянные столкновения с этапным начальством, ни недостаток средств не могли охладить его к этой «службе» и удержать от исполнения ее тягостных обязанностей. В столкновениях он побеждал упорством, настойчивым отстаиванием введенного им обычая, просьбами и иногда угрозами жаловаться, ни пред чем не останавливаясь. Недостатку средств на заготовку газовских кандалов он помогал своими щедрыми пожертвованиями, пока имел хоть какие-нибудь деньги, а затем приношениями своих знакомых и богатых людей, которые были не в силах отказать старику, никогда ничего не просившему... для себя.



*...не пропускал ни одной партии, не сняв кого только возможно с прута и с цепи Капцевича и не приказав перековывать при себе в свои кандалы*

Не теряя под влиянием просьб и убеждений Гааза надежды согласить Капцевича на замену прута, Голицын послал ему при особой подробной записке образчик газовских кандалов. Но Капцевич отвечал ему и тем, кто мог разделить его мнение, в особом докладе, где в защиту прута приводились самые странные соображения. Оказывалось, что «кование в кандалы» равняется телесному наказанию, и допущение его взамен прута относительно маловажных преступников было бы по отношению к ним несправедливостью; оказывалось затем, что именно этих-то маловажных преступников и следует ввиду их закоренелости в злодеяниях лишать телесной силы, которая заключается не в ногах, а в руках, и потому водить их, в отличие от каторжников, на пруте, и т. д. Тогда, уже в 1833 году, после отставки Закревского, князь Голицын послал газовские кандалы и объяснительную к ним записку новому министру внутренних дел, прося его содействия. Содействие было оказано, но в результате вследствие различных влияний вопрос о кандалах не был разрешен категорически. В 1833 году последовало временное разрешение вместо приковывания к пруту арестованных за *легкие проступки* надевать им ножные кандалы, если они сами того пожелают, и будут просить у начальства как особого снисхождения и милости. Это распоряжение страдало рядом недомолвок, обративших его повсюду, где не было Гаазов, в мертвую букву. Что значит легкие проступки? кто определяет их удельный вес? где средства для приобретения кандалов? и какие это кандалы — старого образца или газовские? Наконец, замена *права* арестанта быть снятым с прута снисхождением и *милостью* начальства, и притом неизвестно какого, уничтожала всякий действительный характер у этой меры.

Но для Москвы и этого было довольно. Там неусыпно сторожил партии ссыльных Гааз, и чрез него все пришедшие на пруте, незаведомо для себя, выражали *желание* и просили *милости*, настойчиво и решительно, в случае противодействия прибегая к разрешению генерал-губернатора. Начальники местных этапных команд роптали, сердились, удивлялись охоте Гааза хлопотать и «распинаться» за арестантов, но в конце концов мирились с странными обычаями тюрьмы на Воробьевых горах. Только в конце 30-х годов во время частых поездок серьезно больного князя Голицына за границу, когда Гааз подолгу бывал лишен возможности опереться в этапных спорах на его разрешение, эти начальники стали иногда резко отказывать в просьбах о перековке арестантов, ссылаясь на категорические распоряжения Капцевича. Но Гааз не унывал. Он не только требовал в декабре 1837 года в особой записке от временно исполнявшего обязанности московского генерал-губернатора Нейдгардта защиты против действия чинов внутренней стражи, но даже домогался освобождения навсегда от заковывания дряхлых и увечных арестантов, находя, что «с настоящей волею правительства не может быть сообразно, чтобы люди, лишенные ноги, все-таки, как это ныне водится, получали кандалы и, не имея возможности их надевать, носили их с собою в мешке».

Эта записка переполнила чашу терпения генерала Капцевича. Называя Гааза «утрированным филантропом», заводящим пререкания и «затейливости», затрудняющим начальство перепискою и соблазняющим арестантов, он писал: «Мое мнение — удалить сего доктора от его обязанности». Казалось бы, что дни «безрассудной филантропии доктора Гааза», как выражался Капцевич в ответе Нейдгардту, были сочтены, тем более что в 1844 году скончался искренне оплаканный москвичами князь Д. В. Голицын. Но чуждая личных расчетов доброта, движущая общественною деятельностью человека, есть сила, сломить которую не так-то легко. Упорно настаивая на перековке, Гааз решился даже искать пути, чтобы непосредственно, помимо официальной иерархической дороги, обратить внимание Императора Николая Павловича на прут. Он написал горячее письмо прусскому королю Фридриху-Вильгельму IV, в котором, рисуя картину препровождения на пруте, умолял короля сообщить об этом своей сестре, русской Государыне, которая могла бы об этом рассказать своему Царственному супругу...

Преемник Голицына князь Щербатов вскоре понял и оценил утрированного филантропа и молчаливо, не вступая уже ни в какую переписку, а стоя на почве установившегося обычая, стал поддерживать Гааза в его «сторожевой службе» на Воробьевых горах, не давая хода никаким на него жалобам по перековке арестантов. Быть может, Гаазу только приходилось чаще просить и уговаривать, чем прежде, но зато каждый год его работы в пересыльной тюрьме придавал этим просьбам все больший нравственный вес! Этому содействовала упрочившаяся слава *его* кандалов, которые приобрели новое значение с назначением командиром внутренней стражи генерала фон дер Лауница, сходного с Капцевичем лишь своими отрицательными сторонами. Лауниц приказал укоротить цепь на кандалах на четверть аршина — и обоймы, упираясь при ходьбе в кость голени, стали причинять тяжкие мучения арестантам, не позволяя им при этом идти полным шагом. Гааз не допускал и мысли об укорочении *своей* цепи. Она оставалась прежней длины в аршин и принималась арестантами с радостью и нетерпением. Последние оправдания Гааза против жалоб этапных начальников относятся, как видно из дел тюремного комитета, к 1840 году. Затем наступил период мира и молчаливого соглашения. Гааз сделался неизбежным злом, бороться с которым было бесполезно и скучно. Так продолжалось до 1848 года. Тут произошла сразу перемена фронта в отношениях генерал-губернатора к Гаазу. Начальником Москвы был назначен старый недоброжелатель князя Голицына самовластный и узкий граф Закревский. С назначением его в качестве, как он сам выражался, «надежного оплота против разрушительных идей, грозивших с Запада», в Москве повеяло другим духом. Это отразилось и на Воробьевых горах. Опять начались столкновения по поводу газовских кандалов. Гааз был вынужден войти в комитет с просьбою о возобновлении распоряжения о «выдаче пересылаемым арестантам ножных кандалов вместо ручных, если они о том просить будут». Когда комитет представил об этом графу Закревскому, последний 18 ноября 1848 года приказал дать ему знать, что «Его Сиятельство, принимая в уважение, что удовлетворение подобных просьб арестантов зависит от снисхождения того начальства, которое ответствует за целость препровождаемых арестантов, находит предположение г-на Гааза не *заслуживающим внимания*, потому более, что Его Сиятельство заботится не столько о предоставлении арестантам не заслуженных ими удобств, сколько о способах облегчения этапных команд в надзоре за арестантами».

*Приобщить к делу*, постановил комитет, и на этот раз утрированный филантроп был, по-видимому, окончательно разбит и придавлен краткою и властною элоквенциею нового «хозяина Москвы»... Но... только по-видимому. Эта резолюция лишь обратила *просьбы* глубоко огорченного старика в *мольбы* и присоединила к его уговорам трогательные старческие слезы. Семидесятилетний Гааз приезжал на Воробьевы горы к приходу и отправлению партий по-прежнему и своим почтенным видом и шедшими от сердца словами призывал к возможному смягчению страданий, названному графом Закревским незаслуженными удобствами. «Между сими людьми, — писал он в объяснении по поводу поступившей на него жалобы, — были выздоравливающие и поистине весьма слабые, которые, видя меня посреди арестантов, просили, чтобы я избавил их от сих мук. Мое ходатайство было тщетно, и я принужден был снести взгляд как бы презрения, с которым арестанты отправились, ибо знали, что просьба их законна, и я нахожусь тут по силе же закона. Не имея довольно власти помочь сей беде, я действительно позволил себе сказать конвойному чиновнику, чтобы он вспомнил, что судьею его несправедливых действий есть Бог!» Но не все бывали равнодушны к его призыву. Арестантов все-таки продолжали перековывать, не всегда, но часто. Это видно, между прочим, из того, что в сентябре 1853 года кузнец при витберговской кузнице на Воробьевых горах обращался в комитет с просьбою уплатить ему за последнюю партию в 120 облегченных кандалов, сделанных летом того же года по заказу доктора Гааза, умершего в августе.

Лично человеколюбивое отношение к арестантам и его последствия в Москве не удовлетворяли, однако, Гааза и не давали покоя его мысли. Сознание того, что *до* прихода партий в Москву и в тех, которые *не* проходят чрез Москву, прут и цепь Капцевича продолжают применяться невозбранно, мучило его. Он видел арестантов с отмороженными руками в тех местах, где к ним прикасались железные кольца наручников; он ясно представлял себе страдания людей, не могущих положить прикованную к пруту или короткой цепи руку за пазуху для согревания, в то время когда жестокий мороз при ветре остужает железо, обжигающее и мертвящее своим прикосновением руку. Единственным средством, по его мнению, чтобы предотвратить эти мучения, было обшивание кожею наручней (гаек). Он говорил об этом неоднократно в комитете, подавал о том же записки князю Голицыну в 1832 и 1833 годах. Но и тут Капцевич возражал в упорном ослеплении служебного самолюбия. Он указывал, что обшивка наручников кожею или сукном ослабит их и создаст пустоту, удобную для снятия их, и сомневался, чтобы наручник мог производить холод, ибо железо, согреваясь от голой руки и от рукава кафтана, не должно мерзнуть. Насколько соответствовало действительности такое представление о наручниках, видно из характерного рассказа, записанного С. В. Максимовым со слов арестанта: «Летом цепь суставы ломает, зимой от нее все кости ноют; в нашей партии цепь настыла, холоднее самого мороза стала и чего-чего мы на переходе не напринимались! Мозг в костях, кажись, замерзать стал, таково было маятно и больно, *и не в людскую силу, и не в лошадиную*!..» Гааз, конечно, не убедился доводами Капцевича и не унимался. Представленный им в 1836 году в комитет список арестантов с отмороженными от гаек руками так взволновал Голицына, что он немедленно и в самой настойчивой форме представил министру внутренних дел о необходимости осуществить мысль «затейливого доктора». На этот раз последовавший в том же 1836 году указ о повсеместном в России обшитии гаек у цепей кожею дал Гаазу полное и ясное удовлетворение, не допускавшее никаких недоразумений.

Но не один вид закованных без всякого между ними различия по поводам их пересылки смущал Гааза. Во избежание побегов и для облегчения поимки закон 29 января 1825 года предписывал, как мы уже видели, брить половину головы пересылаемым по этапу. Бритье шло поголовно. С бритою половиною головы оказывались, как видно из записки Гааза, представленной комитету, пересылаемые на родину для водворения после суда, *коим они оправданы*; просрочившие паспорт и просто отправляемые по требованию обществ, опекунов и наследников населенных имений; высылаемые из столицы за нищенство и т. п. Гааз указывает случаи обрития половины головы крестьянину, не имевшему средств возвратиться к своему господину с заработков из Барнаула, тринадцатилетнему еврейскому мальчику, возвращаемому в Гродно для обращения в первобытное состояние *вследствие неправильной отдачи его в военную службу*. Ярко и образно описывая несправедливость и жестокость такого бритья, Гааз 23 ноября 1845 года просил комитет хлопотать о его отмене для не лишенных всех прав состояния. О том же просил он и генерал-губернатора князя Щербатова в особой докладной записке. Усилия его увенчались успехом, и 11 марта 1846 года вследствие представления тюремного комитета общее бритье головы всем пересылаемым было отменено Государственным советом, будучи удержано лишь для каторжных.

Наконец, и продовольствие ссыльных вызвало заботу Гааза. Когда в 1847 и 1848 годах последовало временное распоряжение об уменьшении на одну пятую пищевого довольства заключенных (повторенное во время неурожая 1891 года), Федор Петрович внес в комитет в разное время до 11 000 рублей серебром от «неизвестной благотворительной особы» для улучшения пищи содержащихся в пересыльном замке.

**ГЛАВА ПЯТАЯ**

Заботясь о перековке арестантов и, как мы увидим далее, об их обиходе, делах и т. п., Гааз действовал в качестве директора тюремного комитета, наложившего на себя исключительные обязанности. Не свойства только, не характер и объем этих обязанностей отличали его от большинства его сотоварищей и выдвигали против его воли его симпатичную личность — на всех его действиях лежала печать постоянной сердечной тревоги о ходе взятого на себя дела и отсутствия всякой заботы о самом себе; отражался тот особый взгляд его на развертывавшуюся перед ним картину человеческих немощей, падений и несчастий, который Достоевский назвал бы проникновенными.

Была у него, однако, другая область деятельности, где он был, в особенности первое время, почти полным хозяином, действуя непосредственно, не нуждаясь ни в чьем согласии или поддержке. К сожалению, это продолжалось недолго. Мы знаем, как поразило его препровождение на пруте. Но не менее поразило его и небрежное, бездушное отношение к недугам пересылаемых и к их человеческим, душевным потребностям. Он увидел, что на здоровье пересылаемых не обращается никакого серьезного внимания и что от них спешат как можно скорее отделаться, не допуская и мысли о существовании таких у них нужд, не удовлетворить которым по возможности было бы всегда жестоко, а иногда и прямо безнравственно. Когда он начал просить иного к ним отношения, ему отвечали уклончиво и посмеиваясь... Когда он стал требовать в качестве члена тюремного комитета, ему резко дали понять, что это до него не касается, что это дело полицейских врачей, свидетельствующих приходящих в пересыльную тюрьму, и их прямого начальства.

Но Гааз не понимал, что значит уступчивость, когда требование предъявляется не во имя своего *личного* дела. Еще 2 апреля 1829 года, ссылаясь на свое звание доктора медицины, он настойчиво просил князя Голицына уполномочить его свидетельствовать состояние здоровья всех находящихся в Москве арестантов и подчинить ему в этом отношении полицейских врачей, с негодованием излагая в особой записке нравственную тягость своего положения в пересыльной тюрьме. Он рассказывал, как был отправлен с партиею «старик американец, имеющий вид весьма доброго человека», привезенный некогда в Одессу Дюком де Ришелье и задержанный в Радзивилове «за бесписьменность», так как он не мог доказать своего звания, — отправлен с отмороженною ногою, от которой отвалились пальцы, при полном невнимании к просьбам Гааза задержать его на некоторое время для излечения ноги и собрания о нем справок. «Мне оставалось лишь, — пишет он, — постараться истолковать ему причину ссылки и ободрить его насчет его болезни, причем я имел счастие несколько его утешить и помирить с нерадивым о нем попечением». Он рассказывал далее, как, несмотря на все его просьбы и даже на данное полицейским врачом обещание, писари внутренней стражи «сыграли с ним штуку» и устроили отправку в Сибирь арестанта, зараженного венерическою болезнью. «И так, — пишет Гааз, — сей несчастный отправился распространять свой ужасный недуг в отдаленные края, а я и полицейский врач вернулись домой, имея вид внутреннего спокойствия, как будто мы исполнили наш долг и не более боимся Бога, как сих несчастных невольников; но все беды, которые будет распространять сей жалкий больной, *будут вписаны — на счет московского Попечительного о тюрьмах общества — в книгу, по коей будет судиться мир*!» Записка Гааза была предложена на рассмотрение комитета, и он писал туда: «Все говорят не об устранении*зла*, а только о необходимости соблюдать *формы*; но сии формы совершенно уничтожили бы самую вещь. Тюремный комитет войдет в противоречие с самим собою, если, взирая на рыдания ссылаемых и слыша их плач, не будет иметь хотя бы косвенной власти доставлять утешение их страданиям в последние, так сказать, минуты». Просьба Гааза была уважена, и князь Голицын предписал кому следует предоставить доктору Гаазу как медицинскому члену тюремного комитета свидетельствовать здоровье пересылаемых арестантов без участия полицейских врачей и больных оставлять до излечения в Москве по своему усмотрению.

Таким образом, наряду с заботою о перековке ссыльных Гаазу открылось обширное поприще и для другой о них заботы. Он стал осуществлять ее самым широким образом, устраняя зло, понимаемое им глубоко, и совсем не стесняясь формами, в которые была заключена современная ему тюремная динамика. Можно без преувеличения сказать, что полжизни проведено им в посещениях пересыльной тюрьмы, в мыслях и в переписке о ней. Чуждый ремесленному взгляду на свою врачебную деятельность, отзывчивый на все стороны жизни, умевший распознавать в оболочке больного или немощного тела страждущую душу, он никогда не ограничивал своей задачи, как это делалось многими при нем и почти всеми после него, одним лечением несомненно больных арестантов. Лекарство стояло у него на втором плане. Забота, сердечное участие и в случае надобности горячая защита — вот были его главные средства врачевания. «Врач, — говорилось в составленной им инструкции для врача при пересыльной тюрьме, — должен помнить, что доверенность, с каковою больные предаются, так сказать, на его произвол, требует, чтобы он относился к ним чистосердечно, с полным самоотвержением, с дружескою заботою о их нуждах, с тем расположением, которое отец имеет к детям, попечитель к питомцам». «Комитет требует, — говорится далее в той же инструкции, — чтобы врач пользовался всяким случаем повлиять на улучшение нравственного состояния ссыльных; этого достигнуть легко, надо только быть просто добрым христианином, то есть заботливым, справедливым и благочестивым. *Заботливость* должна выразиться во всем, что относится к здоровью ссыльных, к их кормлению, одежде, обуви и к тому, *как их сковывают*; *справедливость* — в благосклонном внимании к просьбам ссыльных, в осторожном и дружеском успокоении их насчет их жалоб и желаний и в содействии удовлетворению их; *благочестие* — в сознании своих обязанностей к Богу и в заботе о том, чтобы все ссыльные, проходящие чрез Москву, пользовались духовною помощью. Необходимо с уверенностью надеяться, что врач при попечении о здоровье ссыльных в Москве не оставит ничего желать и будет поступать так, чтобы по крайней мере никто из страждущих ссыльных не оставлял Москвы, не нашедши в оной помощи и утешений, каких он имеет право ожидать и по своей болезни, и по лежащему на тюремном комитете долгу, и по мнению, которое русский человек привык иметь о великодушии и благотворительности матушки-Москвы». Первым врачом, которому приходилось исполнять столь своеобразно определенные Гаазом обязанности, был рекомендованный им штаб-лекарь Гофман. Но на практике ему пришлось играть совершенно второстепенную роль и участвовать первое время лишь в предварительном осмотре пересылаемых. Окончательное же освидетельствование и решающее слово оставил за собою Гааз.

При всей своей преданности идеям добра и человечности, он не был только идеалистом, чуждым знакомства с жизнью и с теми искажениями, которым она подвергает идеалы на практике. Веря в хорошие свойства человеческой природы, он не скрывал от себя ее слабостей и низменных сторон. Он знал поэтому, что «всуе законы писать, если их не исполнять», и что в русской жизни исполнитель самого прекрасного правила почти всегда быстро остывает, заменяя не всегда удобное чувство долга сладкою негою лени. Живая натура Гааза и беспокойство о том, что не все части широкой программы, начертанной им, будут выполнены, заставили его, так сказать, «впрячься в корень» и нести на себе, с любовью и неутомимостью, всю тяжесть освидетельствования. В 1832 году по его ходатайству комитет выхлопотал средства для устройства отделения тюремной больницы на Воробьевых горах на 120 кроватей, и оно поступило в непосредственное заведование Гааза. Здесь он мог, оставляя ссылаемых на некоторое время в Москве «по болезни», снимать с них оковы и обращаться с ними как с людьми прежде всего несчастными...

Ссыльные приходили в Москву по субботам. Отправление их дальше совершалось до 1820 года немедленно по составлении статейных списков и получении от губернского правления оказавшейся необходимою обуви и одежды. Это требовало от двух до трех дней времени. Гааз стал настаивать, чтобы пребывание пересыльных в Москве продолжалось не менее недели, не считая дня их прихода. Это было необходимо, чтобы ознакомиться с их нуждами и недугами, чтобы дать им возможность собраться с силами для предстоящего пути. Требования его были удовлетворены в начале 1830 года. Но ему казалось недостаточным заботиться о пересылаемых только в Москве. Его мысль еще некоторое время по уходе их сопутствовала им и бежала впереди них. Ему хотелось продлить попечение о них за пределы пересыльного замка, и по его просьбе князь Голицын предписал городничему города Богородска доносить, с представлением свидетельства местного лекаря, комитету, то есть Гаазу, здоровы ли дошедшие в Богородск из Москвы пересыльные и не обнаружено ли у кого-либо из них болезни, требующей возвращения в Москву для пользования. В течение недели пребывания ссыльных в Москве Гааз посещал каждую партию не менее четырех раз: по субботам, тотчас по приходе, в середине следующей недели, в следующую субботу накануне отправления и в воскресенье пред самым отправлением. Каждый раз обходил он все помещения пересылаемых, говорил с последними, расспрашивая их и, так сказать, дифференцируя с виду безличную, закованную и однообразно одетую массу. Не из праздного или болезненного любопытства вызывал он их на рассказы своей печальной или мрачной повести и на просьбы. Ссылки на болезнь, на слабость, на какую-нибудь поправимую нужду встречали в нем внимательного и деятельного слушателя. Вновь захворал или не окреп после прежнего недуга ссылаемый, слабы его силы для длительного и тяжкого пути, упал он внезапно духом пред Владимиркой, смертельно затосковал, «распростившись с отцом, с матерью, со всем родом своим племенем», как поется в арестантской песне «Милосердной», или ярко затеплилась в нем искра раскаяния, которую искреннее слово утешения и назидания может раздуть в спасительный нравственно пожар, — Гааз уже тут, зоркий и добрый! Надо дать укрепиться, отойти, согреться душевно, решает он и оставляет таких, как подлежащих врачебному попечению, на неделю, две, а иногда и более.

Как и следовало ожидать, эти распоряжения вызывали против него массу нареканий. К генерал-губернатору и в комитет постоянно с разных сторон поступали жалобы на произвольные его действия как врача, слишком смело шагавшего за рамки устава о ссыльных и слишком горячо и настойчиво отстаивавшего присвоенные им себе права. Ранее всех и, пожалуй, сильнее всех ополчился на него генерал Капцевич. «Арестант просит не отправлять его с партиею, ибо он ожидает жену или брата, с которыми хочет проститься, — и г-н Гааз оставляет его, а между тем баталионным командиром уже бумаги о сем арестанте изготовлены; оставляя при осмотре многих отправляющихся ссыльных по просьбам весьма неуважительным, доктор Гааз заставляет конвойных в полной походной амуниции ожидать сего осмотра, или разбора просьб, или прощаний его с отсылающимися преступниками; начальник же команды, сделавший расчет кормовым деньгам и составивший список отправляемым, вынужден все это переделывать... и конвойные и арестанты, собравшиеся уже к походу, теряют напрасно время на Воробьевых горах и прибывают на ночлег поздно, изнуренные ожиданием и переходом». Так писал негодующий Капцевич, доказывая, что именно *Гааз-то и изнуряет* арестантов, и заявляя, что «он не только бесполезен, но даже вреден, возбуждая своею неуместною филантропией развращенных арестантов к ропоту...». С своей стороны штаб-лекарь Гофман, вероятно тяготясь второстепенною ролью при Гаазе, вовсе не разделял взглядов его на поводы к задержанию пересылаемых. Так, например, где последний оставлял в 1834 году из партии в 132 человека — 50 и из партии в 134 человека — 54, Гофман считал возможным на точном основании устава о ссыльных, говорившего об оставлении лишь «тяжко больных или совершивших новое преступление», удержать в Москве лишь 11 и 13. При спорах Гааза с начальством, возникавших по поводу оставляемых, Гофман всегда держал сторону последнего, а впоследствии, в начале 40-х годов, когда Гааз был в опале у комитета, решался даже прямо отменять его распоряжения, находя, что признаваемые им больными арестанты притворяются.

Вместе с тем полицеймейстеры Москвы и плац-адъютанты, командируемые для наблюдения за порядком при отправлении партии, тоже раздражались на производимую Гаазом «неурядицу». Особенно усилились все эти жалобы в 1834 году. Недовольное Гаазом губернское правление чрез гражданского губернатора жаловалось на причиняемые им затруднения в составлении статейных списков. Голицын приказал потребовать от него объяснения. В сознании своей нравственной правоты Гааз в своих объяснениях признавал себя формально виновным в нарушениях узкого смысла устава о ссыльных. Да, он задерживал не одних только тяжко больных! Так, он задержал в качестве больного на неделю ссыльного, следовавшая за которым жена была по дороге, в десяти верстах от Москвы, задержана родами; так, он дозволил трем арестантам, шедшим в каторгу, из коих один слегка занемог, дожидаться в течение недели пришедших с ними проститься жены, дочери и сестры, причем «встречи сих людей нельзя было видеть без соболезнования»; так, ввиду просьбы шестерых арестантов, шедших в Сибирь за «непокорство» управляющему своего помещика, «не дать им плакаться и дозволить идти из Москвы вместе» он оставил их на неделю, пока не поправились жена одного из них и ребенок другого. Так, он оставил девятнадцатилетнего Степанова на две недели вследствие «тяжелой усталости» сопровождающей его старухи матери; дважды оставлял арестанта Гарфункеля по его убедительной просьбе, основанной на уверенности, что за ним непременно идет жена, причем оказалось, что жена действительно пришла, но уже чрез два дня после его ухода; оставил двух ссылаемых помещиком крестьян вследствие сообщения крестьянского общества, что оно покупает для сопровождающих их жен с младенцами лошадь, и т. д. и т. д. «В чем вред моих действий? — спрашивал он. — В том ли, что некоторые из оставленных арестантов умерли в тюремной больнице, а не в дороге? что здоровье других сохранено? что душевные недуги некоторых по возможности исправлены? Арестанты выходят из Москвы, не слыша говоримого в других местах: «Идите дальше, там можете просить». Материнское попечение о них может отогреть их оледеневшее сердце и вызвать в них теплую признательность!»

На упреки в нарушении устава о ссыльных он отвечал, между прочим: «Обязанность руководствоваться уставом о ссыльных может быть уподоблена закону святить субботу. Господь, изрекши, что Он пришел не разрушать закон, Сам истолковал книжникам и фарисеям, порицавшим Его за нарушение субботы пособием страждущим, что не человек создан для субботы, а суббота установлена для человека. Так и устав издан в пользу пересыльных, а не пересыльные созданы для устава. Число арестантов, содержимых в губернском замке и сетующих на долговременное и неправильное их содержание, гораздо больше того, какое по убедительным просьбам их, для успокоения тяготящих сердца их надобностей удерживается на краткое время в пересыльном замке».

Энергическая защита Гаазом своих действий и воззрений, по-видимому, произвела свое действие. Хотя ему и пришлось испытать, как видно из его заявлений в комитете, неудовольствие искренно им любимого Голицына и даже вследствие столкновений с членами комитета оставить должность секретаря, которую он исполнял с 1829 года, но его права по пересыльному замку не были ограничены и он по-прежнему усердно и решительно отправлял в больницу на Воробьевых горах не только слабых, усталых и больных, но и таких, «душевные недуги» которых надо было «исправить».

Так продолжалось до 1839 года. В этом году исправляющий должность генерал-губернатора московский комендант Стааль, «признавая самоотвержение г-на Гааза, но удерживая, однако же, мысль, что и в самом добре излишество вредно, если оно останавливает ход дел, законом учрежденный», просил комитет «ограничить распоряжения лица, удерживающего в пересыльном замке арестантов». Это послужило сигналом для новых нападений на Гааза со всех сторон. Со стороны полиции пошли жалобы, а командированный комитетом для проверки его действий при отправлении партий директор Розенштраух и секретарь комитета Померанцев стали резко осуждать его. Наконец и сам князь Голицын, уже больной, начал приходить в раздражение от постоянных жалоб на утрированного филантропа и в 1839 году предписал ему представлять для проверки в комитет и в губернское правление списки оставляемых им в Москве, с точным обозначением их *болезни*, которая вынудила его на эту меру, а комитет потребовал, чтобы вместе с этими списками представлялись о том же и списки Гофмана. В довершение всего по распоряжению министра внутренних дел, основанному, вероятно, на жалобах Капцевича, о неправильных действиях Гааза и его столкновениях с властями было начато гражданским губернатором дознание, и с согласия князя Голицына 22 ноября 1839 года Гааз совершенно устранен от заведования освидетельствованием пересыльных. Последнее распоряжение до крайности оскорбило старика. Его объяснение комитету и докладная записка Голицыну носят следы глубокой горечи и негодования. «Я призываю небо в свидетели, — пишет он, — что ни губернское правление, ни какое-либо другое лицо не будут в состоянии указать на какой-нибудь поступок с моей стороны, который сделал бы меня недостойным доверия, которым я до сего времени пользовался». «Я не раз, — продолжает он со скорбью, — высказывал в комитете уверенность, что и другие его члены, если захотят, лучше выполнят мое дело и что единственное мое преимущество — это неимение других занятий, которые могли бы меня отвлечь от любимого мною занятия — заботы о больных и арестантах. Теперь же никто не занял моего места в пересыльной тюрьме и вот уже четыре недели никто не посетил ссылаемых!» Указывая, что он не считал возможным заботиться только о телесных нуждах арестантов, он заявляет князю Голицыну, что ждал присутствования при отправлении партий как награды за свой труд. «C’était le prix de mes peines et il consistait dans quatre demandes, que je pouvais adresser à ces malheureux un moment avant leur départ: est-ce que vous vous portez bien? est-ce que ceux, qui savent lire, ont reçu un livre? est-ce que vous n’avez aucun besoin? est-ce que vous êtes contents?»[[10]](#footnote-10). Мы увидим, что это в его устах были не праздные вопросы... По поводу сделанного ему замечания, что он возвел милость в обязанность, Гааз пишет Голицыну: «Oui! j’ai même fait recevoir comme règle par mes subordonnés, employés du Comité, que le mot de *grâce*ne doit pas être prononcé parmi nous. D’autres visitent les prisoniers par grâce, leur font des aumônes par grâce, s’emploient pour eux auprès de chefs et auprès des parents par grâce, — nous autres, membres et employés du Comité, apres avoir accepté cette charge, nous faisons tout cela par *devoir*»[[11]](#footnote-11).

Мысль о том, что с удалением его исчезло действительно попечение о пересыльных, что там, где еще так недавно на их нужды отзывалось его сердце, начались злоупотребления, неизбежные при полном бесправии арестантов и формальном отношении к ним властей, мучила его и порождала ряд просьб и заявлений, писанных почерком, обличающим нервную и нетерпеливую руку. «Позвольте мне, — пишет он 24 декабря 1839 года гражданскому губернатору, — выразить мое предчувствие, что если жалобам на оставление ссыльных в Москве не будет дано справедливого разъяснения, то снова настанет то время — чему уже есть примеры, — когда людей, просящих со скромностью о своих нуждах, дерут за волосы, бранят всячески напрасно, таскают их и совершают такие действия, при виде коих должно полагать себя более на берегах сенегальских, нежели на месте, где определительно велено учить людей благочестию и доброй нравственности, так чтобы содержание их служило более к исправлению, нежели к их ожесточению». В другом письме к тому же лицу он приводит случаи, свидетелем которых он был и которые особенно взволновали его. Это были отправление 21 декабря 1839 года двух совершенно больных арестантов, которые пошли только потому, что «могли держаться на ногах», и происшествие с двумя молодыми девушками, которое он рассказывает следующим образом: «В тот же день две сестры-девушки со слезами просили их не разлучать; одну, по осмотру штаб-лекаря Гофмана, назначено было остановить, но другой, младшей, отказано в ее просьбе по той причине, что она уже два раза была останавливаема из-за болезни своей сестры, причем объявлено им, что если желают быть неразлучны, то пусть больная переможет себя и идет; сестры согласились, предпочитая, надо полагать, лучше умереть вместе, нежели быть разлученными. Обходя людей, стоявших уже на дворе, я нашел означенную девушку до того больною, что вынужденным нашел объявить полицеймейстеру полковнику Миллеру, что ее нельзя отправить, хотя бы она того и желала, на что г-н Миллер ответил согласием, но с тем, чтобы сестра ее все-таки была отправлена. Тогда я убедительнейше его просил ради любви сих сестер друг к другу оставить обеих и напомнил ему, что ходатайства тюремного комитета, буде окажутся приличными, должны быть уважаемы и что редкие случаи могут быть столь достойны уважения, как просьба сих девушек, кои, будучи довольно молоды, могут лучше друг друга, нежели одна по себе, беречь от зла и подкреплять к добру». Но Миллер остался непреклонен, дав понять бедному Гаазу, что он уже «как при изъяснении о состоянии здоровья сих людей, так и при изъяснении свойств тюремного комитета*ныне считается ничем*...». Это заявление окончательно взволновало старика. «Говоря с г-ном Миллером, — пишет он, — на языке, который окружающие не разумели (то есть на иностранном), я сказал ему, что считаю себя обязанным о таковом происшествии довести до сведения Государя, но и сим не успев преклонить волю г-на Миллера к снисхождению, дошел до того, что напомнил ему о Высшем еще суде, пред которым мы оба не минуем предстать вместе с сими людьми, кои тогда из тихих подчиненных будут страшными обвинителями. Господин Миллер, сказав мне, что тут не место делать *катехизм*, кончил, однако же, тем, что велел остановить обеих сестер...»



*...две сестры-девушки со слезами просили их не разлучать...*

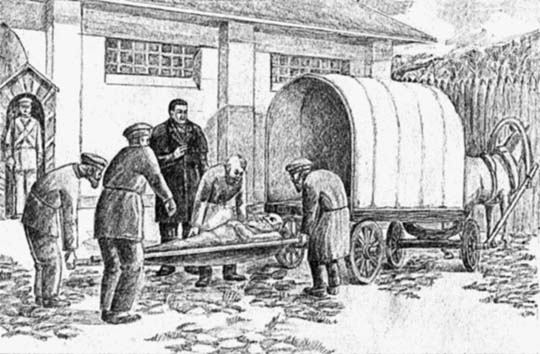
Еще в 1834 году в ряду обвинений против утрированного филантропа было выставлено Капцевичем и обвинение о том, что он постоянно утруждает начальство «неосновательными» просьбами за «развращенных» арестантов. Оно было повторено с особою силою и в 1839 году. Оправдываясь, Гааз в горячих выражениях указывает на всеобщее равнодушное отношение к нуждам ссыльных, на торопливость, с которою для каждой партии составляется статейный список, на нежелание выслушивать их просьбы, чтобы не изменять и не переделывать этого списка, ограждая тем конвойных от ожидания и писарей от излишнего труда. «Когда партия отправляется и не получившие справедливости арестанты смотрят на меня с некоторым как бы видом презрения, то я думаю, — восклицает он, — что Ангел Господень ведет *свой статейный список* и в нем записаны начальство сих несчастных и я...» Сознание невозможности продолжать освидетельствование, не давая ему покоя, без сомнения, побуждало его к ряду личных просьб и протестов. Следов их не сохранилось, но уцелели его письменные обращения, в которых чувствуется глубоко убежденный и страдающий человек. «Учреждение тюремного комитета, — пишет он генерал-губернатору, — обращается как бы в фантом, и обязанность, порученная Вашему Сиятельству как бы в качестве *душеприказчика* основателя общества, остается без последствий; до последней степени оскорбительно видеть, сколь много старания прилагается держать букву закона, когда хотят отказать в справедливости!» «Сегодня, — пишет он 29 декабря 1839 года гражданскому губернатору Олсуфьеву, — исполнилось десять лет со дня открытия в Москве тюремного комитета; мне хочется сей день, который бы следовало праздновать высокоторжественным образом, провести в глубоком трауре. Это самый печальный день, который имел я во все время существования комитета, видя нарушение достигнутого десятилетними трудами облегчения вверенных нам людей. Ваше Превосходительство сами можете постигнуть, какие должны быть мои чувства, когда даже в Вас не могу еще заметить сострадания к несправедливым поступкам, кои я претерпеваю отвсюду от того единственно, что я старался всем сердцем и всеми способами о соблюдении тех правил, которые должны были быть исполняемы касательно сих людей».

Не дождавшись немедленного восстановления своих прав, Гааз не сложил, однако, оружия. Он считался директором тюремного комитета и крепко держался за это звание. Оно давало ему возможность ездить в пересыльную тюрьму и на этап, видеть «своих» арестантов, просить за них и заступаться несмотря на то, что директор Розенштраух, командированный комитетом, погрозил ему однажды тем, что если он будет продолжать «нарушать порядок», то будет «удален силою». «Несмотря на унижения, коим я подвержен, несмотря на обхождение со мною, лишающее меня уважения даже моих подчиненных, и чувствуя, что я остался один без всякой приятельской связи или подкрепления, — пишет он в марте 1840 года комитету, — я тем не менее считаю, что, покуда я состою членом комитета, уполномоченным по этому званию волею Государя посещать все тюрьмы Москвы, мне никто не может воспретить отправляться в пересыльный замок в момент отсылки арестантов, и я продолжаю и буду продолжать там бывать всякий раз, как и прежде...» Долго ли продолжалось это тягостное для него положение, определить в точности не представляется возможным, но уже с 1842 года в журналах комитета начинают встречаться заявления самого Гааза о содействии тем или другим нуждам арестантов, *оставленных им* в больнице пересыльного замка, а известия конца 40-х и начала 50-х годов, несмотря на суровое генерал-губернаторство Закревского, рисуют его энергически распоряжающимся в любимой сфере. Очевидно, что противники его, видя упорство старика, устали и — махнули на него рукою. Притом за этим его упорством чувствовалась великая, покоряющая нравственная сила, пред которою бледнели и теряли значение *такие* важные беспорядки и затруднения, как необходимость переписывать кондуитные списки или изменять расчет кормовых денег... Быть может, некоторым его противникам из-за серой массы «развращенных арестантов», с упованием и благодарностью смотревших на оскорбляемого, но настойчивого чудака, стал видеться тот Ангел Господень, на которого он с такою уверенностью ссылался и у которого был «свой статейный список»...

Но как бы то ни было, поездки на Воробьевы горы и на Рогожский полуэтап продолжались до самой смерти Гааза. «Я встречал иногда в некоторых домах Москвы доктора Гааза, — писал нам в 1893 году покойный Е. А. Матисен (старейший член петербургской судебной палаты), — он энергическою своею осанкою напоминал Лютера; я застал его в 1850 году при человеколюбивой деятельности его в качестве врача при пересыльном арестантском замке на Воробьевых горах. В одно воскресенье поехал я туда для присутствования при тяжком зрелище отправления этих несчастных в Сибирь; в числе их была одна женщина, присужденная к каторжным работам; она уже поставлена была в общий строй, для шествия пешком, когда приехал гражданский губернатор; на просьбу этой арестантки дозволить ей сесть на одну из телег, всегда сопровождающих конвой и назначенных для детей и слабосильных, он в резких выражениях отказал; тогда приблизился к ней доктор Гааз и, удостоверившись в крайнем истощении ее, обратился к губернатору с заявлением, что он не может дозволить отправления ее пешком; губернатор возражал и упрекал его в излишнем добродушии к преступнице, но Гааз настаивал и, отозвавшись, что за больных отвечает он, приказал принять эту женщину на телегу; губернатор хотел отменить это распоряжение, но Гааз горячо сказал, что он не имеет на это права и что он тотчас донесет об этом генерал-губернатору Закревскому. Тогда только губернатор уступил, и женщина отправлена была в телеге. В тот же день я был очевидцем, как одного каторжника заковали, и так неумело, что нога его оказалась в крови и он от боли не мог встать, — тогда Гааз велел его расковать, приняв на себя ответственность за возможный побег. Возвратившись в Москву, я поехал к Рогожской заставе, чрез которую проходил конвой арестантов, и здесь опять встретил доктора Гааза, желавшего удостовериться, не отменены ли его приказания относительно слабосильных арестантов, и вновь подошедшего с ободрением и теплыми словами к женщине, сидевшей на телеге и освобожденной им от пешего хождения по этапам».

Воспоминания людей, помнящих Гааза и служивших с ним, дают возможность представить довольно живо его воскресные приезды на Воробьевы горы. Он являлся к обедне и внимательно слушал проповедь, которая вследствие его просьбы, уваженной митрополитом Филаретом, всегда неизбежно говорилась в этот день для арестантов. Затем он обходил камеры арестантов, задавая те вопросы, в праве предложить которые видел себе, как он писал князю Голицыну, награду. Арестанты ждали его посещения как праздника, любили его, «как Бога», верили в него и даже сложили про него поговорку: «У Гааза — нет отказа». Самые тяжкие и закоренелые преступники относились к нему с чрезвычайным почтением. Он входил всегда один в камеры «опасных» арестантов — с клеймами на лице, наказанных плетьми и приговоренных в рудники без срока, — оставался там подолгу наедине с ними, и не было ни одного случая, чтобы мало-мальски грубое слово вырвалось у ожесточенного и «пропащего» человека против Федора Петровича. Вопрос о том, не имеет ли кто какой-нибудь нужды, вызывал всегда множество заявлений, часто неосновательных, и просьб, удовлетворение которых было иногда невозможно. Гааз все выслушивал терпеливо и благодушно. На его исполненном спокойствия и доброты лице не было и тени неудовольствия на подчас вздорные или даже вымышленные претензии. Он понимал в глубоком сострадании своем к слабой душе человеческой, что узник и сам часто знает, как нелепа его просьба или несправедлива жалоба, но ему надо дать высказаться, выговориться, надо дать почувствовать, что между ним — отверженцем общества — и внешним, свободным миром есть все-таки связь и что этот мир приклоняет ухо, чтобы выслушать его... Терпеливое внимание, без оттенка докуки или раздражения, два-три слова сожаления о том, что нельзя помочь, или разъяснение, что для помощи нет повода, — и узник успокоен, ободрен, утешен. Всякий, кто имел дело с арестантами и относился к ним не с надменной чиновничьей высоты, знает, что это так...

Но если жалобы и просьбы арестанта переходили во вздорную словоохотливость, Федор Петрович, улыбаясь, переходил к следующему, говоря сопровождавшему его тюремному служителю: «Скажи ему, милый мой, что он не дело говорит...» Затем начиналось освидетельствование арестантов в известном уже объеме. В 1851 году для некоторого контроля над широким применением Гаазом понятия о нездоровье губернское правление стало командировать к отправке пересыльных партий члена врачебной управы. Выбор лица для этого надзора был сделан весьма своеобразно. Сдерживать Гааза был назначен друг Грановского и Щепкина, «перевозчик» на русский язык Шекспира, небрежный в костюме, косматый, жизнерадостный, злой на язык и добрый на деле, оглушающий громовыми раскатами смеха Николай Яковлевич Кетчер. Имена арестантов, про которых было известно, что Федору Петровичу хотелось бы их оставить до следующего этапного дня, писались карандашом на записочке, и она передавалась Кетчеру наподобие докторского гонорара при рукопожатии людьми, сочувствовавшими Гаазу между тюремным персоналом. Подойдя к обозначенному в записке, Кетчер обыкновенно находил, что *он, кажется, не совсем здоров*. Гааз краснел от удовольствия и немедленно восклицал: «Оставить его! оставить... в больницу!..»



*Гааз немедленно восклицал: «Оставить его! оставить... в больницу!..»*

«Мы были, — пишет 28 сентября 1847 года жена английского посла леди Блумфильд («Reminiscences of court and diplomatic life, by Georgina Baroness Bloomfield». London. 1882)[[12]](#footnote-12), — в пересыльной тюрьме на Воробьевых горах... Тюрьма — жалкая постройка, состоявшая из нескольких деревянных домов, построенных в 1831 году, во время холеры, чтобы не пускать преступников в зараженный город. Мы вошли в комнату, где их осматривал доктор Гааз. Этот чудесный человек посвятил себя им уже восемнадцать лет и приобрел среди них большое влияние и авторитет. Он разговаривал с ними, утешал их, увещевал, выслушивал их жалобы и внушал им упование на милость Бога, многим раздавая книги. Все это произвело на меня сильное впечатление. Тексты Писания о том, «кому много дано», и «о первых, которые будут последними», никогда не представлялись так живо моему уму. Всех арестантов было 80 человек — мужчин и женщин; 28 из них шли в пожизненную каторгу. Последние, с обритою наполовину головою, имели вид призраков; вид большей части был скорее апатичный, чем злой. Когда я вошла в тюрьму, один арестант стоял на коленях перед Гаазом и, не желая встать, рыдал надрывающим душу образом. Его история очень любопытна. Он был сослан в Сибирь за убийство, и жена отказалась следовать за ним. Бежав из Сибири, он нашел на родине, в Белоруссии, жену замужем за другим. Его поймали, жестоко наказали и опять сослали. С отчаянием умолял он отдать ему жену. Несчастье было написано на лице его. Сколько ни уговаривал его Гааз, сколько ни образумлял с ласкою и участием, он оставался неутешен и плакал горько. Пред отходом партии была перекличка. Арестанты начали строиться, креститься на церковь; некоторые поклонились ей до земли, потом стали подходить к Гаазу, благословляли его, целовали ему руки и благодарили за все доброе, им сделанное. Он прощался с каждым, некоторых целуя, давая каждому совет и говоря ободряющие слова. Потом Гааз сказал мне, что всегда молится, чтобы, когда все соберутся пред Богом, начальство не было осуждено этими самыми преступниками и не понесло в свою очередь тяжелого наказания. К тюрьме был пристроен госпиталь, состоявший под его наблюдением. В нем он удерживал больных или тех, кто был слаб для пяти с половиною месячного пути. Тяжелое, но неизгладимое впечатление!»

Приготовленная к отправке партия ссыльных не тотчас же направлялась по Владимирке. Первый переход от Москвы до Богородска был очень длинен. Он до крайности утомлял и конвой, и арестантов, которым приходилось выступать из пересыльной тюрьмы довольно поздно, между двумя и тремя часами пополудни. По мысли и настоянием Гааза решено было устроить на другом конце Москвы, за Рогожскою заставою, полуэтап, где партия могла бы переночевать и уже утром выйти окончательно в путь. Гааз нашел средства, отыскал благотворителей, между которыми выдающееся место занимал купец Рахманов, — и здание Рогожского полуэтапа стало давать последний в пределах Москвы приют ссыльным и их семействам. Сюда стекались пожертвования, иногда очень щедрые, натурою (преимущественно калачами, яйцами и ситцем на рубаху) и деньгами от благотворителей, которыми всегда была изобильна Москва; сюда же приходили некоторые из них лично, чтобы раздавать подаяние арестантам. Здесь можно было видеть то «умилительное, — по словам Гоголя, — зрелище, которое представляет посещение народом ссыльных, отправляемых в Сибирь, при чем нет ни ненависти к преступнику, ни донкихотского порыва сделать из него героя, собирая его факсимиле и портреты, — или желания смотреть на него из любопытства, как делается на Западе, — есть что-то более: не желание оправдать его или вырвать из рук правосудия, но воздвигнуть упадший дух его, утешить, как брат утешает брата» («Выбранные места из переписки с друзьями»). С устройством Рогожского полуэтапа местное начальство внутренней стражи распорядилось было водить партии с Воробьевых гор по окраинам Москвы, минуя ее оживленные и населенные улицы и не тревожа спокойствия их обитателей и посетителей видом ссылаемых и звоном кандалов. Но мысль об ограждении «счастливых» от напоминания о «несчастных» была непонятна Гаазу и казалась ему идущею наперекор с добрыми свойствами русского человека, не хранящего злобы против наказанного преступника и создавшего поговорку «От сумы да от тюрьмы не отказывайся». Этот иностранец глубже, чем официальные представители московского благочиния, понимал высокое нравственное значение отношения русского человека к «несчастному», нашедшее в себе впоследствии вдумчивого истолкователя в Д. А. Ровинском. Кроме того, с точки зрения практической провод ссыльных по окраинам лишал их обильных подаяний, отовсюду сыпавшихся им на пути чрез Замоскворечье, Таганку и Рогожскую часть. Защитник арестантских интересов, Гааз стал тотчас же домогаться отмены этого распоряжения чрез комитет и, не дожидаясь разрешения этого вопроса канцелярским путем, обратился в 1835 году к коменданту Москвы генералу Стаалю с горячим письмом, умоляя его о «великом облегчении сим людям». Распоряжение было отменено.

К этому-то полуэтапу подъезжала утром в понедельник известная всей Москве пролетка Федора Петровича и выгружала его самого и корзины с припасами, собранными им за неделю для пересыльных. Он обходил их, осведомлялся, получили ли они по второй рубашке, выхлопотанной им у комитета в 1839 году, ободрял их снова, к некоторым, в которых успел подметить «душу живу», обращался со словами: «Поцелуй меня, голубчик» («Прощание г-на Гааза даже сопровождается целованием с преступниками», — писал негодующий Капцевич в 1838 году), и долго провожал глазами тронувшуюся партию, медленно двигавшуюся, звеня цепями, по Владимирской дороге...



*...велел заковать себя в свои облегченные кандалы и прошел в них по комнате расстояние, равное первому этапному переходу...*

Иногда встречные с партиею москвичи, торопливо вынимая подаяние, замечали, что вместе с партиею шел, нередко много верст, старик во фраке, с Владимирским крестом в петлице, в старых башмаках с пряжками и в чулках, а если это было зимою, то в порыжелых высоких сапогах и в старой волчьей шубе. Но москвичей не удивляла такая встреча. Они знали, что это Федор Петрович, что это святой доктор и Божий человек, как привык его звать народ. Они догадывались, что ему, верно, нужно еще продлить свою беседу с ссыльными и, быть может, какое-нибудь свое пререкание с их начальством. Они знали, что нужды этих людей и предстоящие им на долгом пути трудности не были ему чужды ни в каком отношении. Недаром же в Москве рассказывали, что однажды в 1830 году губернатор Сенявин, приехав к нему по делу, застал его непрерывно ходящим под аккомпанемент какого-то лязга и звона взад и вперед по комнате, что-то про себя сосредоточенно считая, с крайне утомленным видом. Оказалось, что он велел заковать себя в свои облегченные кандалы и прошел в них по комнате расстояние, равное первому этапному переходу до Богородска, чтобы знать, каково *им* идти в таких кандалах.

**ГЛАВА ШЕСТАЯ**

Отношение Гааза к вопросам тюремной статики было менее боевое, чем к вопросам динамики. Сравнительная неподвижность оседлого тюремного населения давала возможность вести дело улучшения его положения более сдержанно и спокойно. То, чего нельзя было достигнуть *сегодня*, могло — и притом по отношению к тем же самым людям — быть сделано *завтра*. Все сводилось лишь к настойчивости и выдержке. Арестант не мелькал здесь пред опечаленным взором утрированного филантропа, как в калейдоскопе, где каждый поворот изменяет личный состав нуждающихся в помощи и защите.

Но и в области статики Гааз работал много и плодотворно. Он застал московский губернский замок, про который арестантская песня говорила: «Меж Бутыркой и Тверской, там стоят четыре башни, в середине большой дом, где крест-накрест калидоры», в ужасном состоянии. Если в 1873 году, через сорок с лишком лет, в материалах, собранных Соллогубовскою комиссиею для тюремного преобразования, про этот замок было, быть может не без некоторого преувеличения, сказано, что он представляет «образец всех безобразий» и что первым приступом к тюремной реформе должно быть «уничтожение этого вертепа» («Записка о карательных учреждениях России», № 2, с. 12), то можно себе представить, что такое он представлял собою при открытии тюремного комитета. Из тех улучшений, очень скромных вследствие скудости средств, которые в нем осуществил Гааз, можно составить себе приблизительную картину бросавшихся в глаза недостатков этого места заключения огромного количества людей. В маленьких, скупо дававших свет, окнах не было форточек; печи дымили; вода получалась из грязных притоков Москвы-реки; в мужских камерах не было нар; на ночь в них ставилась протекавшая и подтекавшая параша; не было никаких приспособлений для умывания; кухни поражали своею нечистотою; распределение по возрасту и роду преступлений не соблюдалось; слабый вообще надзор ограничивался лишь по временам крутыми мерами насилия и принуждения; пища была плохая и скудная, но зато в углах камер, у стен с облупленною штукатуркою, покрытых плесенью и пропитанных сыростью, вырастали грибы...

В 1832 году Гааз решительно принялся за дело улучшения хотя бы части этой, как он выражался, несносной неопрятности. Дважды в течение августа 1832 года был он у князя Д. В. Голицына, рисуя ему эту неопрятность, и убедил его лично в ней удостовериться. Результатом этого было разрешение комитетом Гаазу устроить в виде опыта один из коридоров замка — *северный* — хозяйственным способом. Гааз принялся за дело ретиво, по нескольку раз в день приезжал на работы; платил рабочим свои деньги, чтобы они не бросали некоторых работ и в праздники, после обедни; лазил по лесам, рисовал, рассчитывал, спорил — и в половине 1833 года часть тюремного замка приняла не только приличный, но и образцовый по тому времени вид. Чистые, светлые камеры с нарами, которые поднимались днем, с окнами втрое шире прежних, были выкрашены масляною краскою; были устроены ночные ретирады и умывальники, вырыт на дворе собственный колодезь, и внутри двора посажены сибирские тополя по два в ряд, «для освежения воздуха».

Так образовался, к негодованию генерала Капцевича, устроенный Гаазом «приют, не только изобильный, но даже роскошный и с прихотями, избыточно филантропией преступникам доставляемыми». В довершение «роскоши» этого приюта при нем были устроены Гаазом, принявшим на себя звание директора работ, мастерские, и в них при его посредстве постепенно к июню 1834 года заведены для арестантов переплетные, столярные, сапожные и портняжные работы, а также плетение лаптей. В 1836 году, по мысли Гааза и Львова, главным образом на пожертвования, собранные первым, устроена при пересыльной тюрьме за неимением места в губернском замке школа для арестантских детей. Гааз часто посещал ее, расспрашивал и ласкал детей и нередко экзаменовал их. Он любил исполнение ими церковных гимнов, причем, к изумлению местного священника, совершенно правильно поправлял их ошибки в славянском тексте. В этой школе хотел он, по словам Жизневского, повесить часы с большим маятником и с очень нравившеюся ему звукоподражательной надписью: «Как здесь, так и там; как здесь, так и там!..»



*Гааз часто посещал ее, расспрашивал и ласкал детей и нередко экзаменовал их*

Постоянно бывая в тюремном замке, Гааз зорко следил за поведением служащих и требовал от них той любви к делу, пример которой подавал сам. Но это было трудно исполнимо, и при его доверчивости к людям он часто делался в этом отношении жертвою грубого лицемерия, покуда сердце не подсказывало ему или какой-нибудь вопиющий факт не доказывал ему, что дело идет не так, как следует. В этих случаях он волновался чрезвычайно — сыпал горячими упреками, штрафовал, увольнял. Но тюремный персонал не создается сразу.

Не менее волновали Гааза материальные следы крутых и безгласных расправ с арестантами. В записках и трудах Д. А. Ровинского содержатся указания на то, что еще в 40-х годах бывали случаи кормления подследственных арестантов селедками и подвешиванья их со связанными назад руками; он сам должен был заняться уничтожением подвальных темниц при Басманной части и упразднить «клоповник» при одной из других частей. В возможность подобных явлений в московских тюрьмах зорко вглядывался Гааз. В 1843 году он был глубоко возмущен, узрев в замке «особую машину — так называемый *крест* (sic!), на который привязывается человек для наказания на теле, устроенный, как говорят, наподобие тех, какие есть, как сказывают, во всех частных домах города». Требуя от комитета немедленного уничтожения этой машины, Гааз высказал и свой взгляд на отношение тюремных служителей к своим обязанностям.

«Если приставники, — пишет он, — будут смотреть за собою, чтобы самим не впадать в прегрешение, то редки будут и случаи взыскания с заключенных. В управлении больничном я нахожу чрезвычайно полезным начинать взыскание со старших приставников, кои при справедливом разбирательстве почти всегда оказываются виновными в неприятностях, учиненных их подчиненными. То же полагал бы применять и в замке, а не противные закону истязания...» В одном случае, коснувшемся орудия наказания не в настоящем, а в прошлом, он столкнулся даже с глубоко чтившим его Ровинским. В губернском замке в одном из коридоров хранилась железная клетка, в которой содержался пред казнью Пугачев, наводивший ужас своим видом на любопытных женщин и смущавший многих загадочными словами: «Воронто взят, а вороненок-то еще летает». Для любителя старины и археолога, каким был Ровинский, клетка эта была предметом особого исторического интереса, и он все собирался ее изучить подробно, измерить, описать и т. д. Но не так относился к ней Гааз, давно сурово на нее косившийся. Воспользовавшись каким-то междуцарствием в замке, он решился убрать от всяких взоров ненавистную ему клетку и приказал ее совершено замуравить в нишу, имевшуюся в стене, где она и находилась, во всяком случае, до его смерти.

Ревнитель улучшений в тюремном быту, Гааз не был, однако, поклонником таких нововведений, которые, по его мнению, шли вразрез не только с особенностями русского простолюдина, но и со свойствами человеческой природы вообще. Когда стало входить в моду одиночное тюремное заключение на началах пенитенциарной системы, в комитете раздались сочувствующие ему голоса. Некоторым из членов комитета сделалось симпатичным представление об огромном здании, разделенном на ячейки и погруженном в гробовое молчание, причем предполагается, что отданный на жертву тоске, страстным помыслам и мрачному одиночеству человек, лишенный искусственно возможности употребления того, чем он прежде всего отличается от животного — членораздельной речи, — очищается покаянием и исправляется нравственно. Но Гааз постиг все темные и обманчивые стороны этой системы и понял ее жестокость. То, что в 60-х годах ученый Гольцендорф называл «eine raffinierte Quälerei»[[13]](#footnote-13), отталкивало от себя Гааза еще в 30-х. «Насчет похвалы сей системы, — пишет он комитету в октябре 1832 года, — я не менее мнителен, как и на похвалу новых средств и методов в пользовании больных. Учреждение домов покаяния сходствует с учреждением монастырей. Сколь ни превосходен будет один монастырь, то из сего не следует, чтобы правила его были распространены на все другие монастыри. Есть монастыри, в коих находящиеся ничего не говорят, кроме «memento mori»[[14]](#footnote-14). Хотя сие есть важное и для многих даже приличнейшее изречение, однако ж оно не везде употребляется. Дозволительно поэтому спросить: почему в России обрекать арестантов на одиночество? почему лишать их тихого и доброго между собою разговора, а не удерживать только от шумного и неблагопристойного? Я уповаю, что не сими стеснениями и ожесточениями, а устройством труда и соединением арестантов на общую молитву можно благо действовать на исправление их нравственности...»

Забота о правильном содержании арестанта в стенах тюрьмы не исчерпывала, однако, всей полноты задачи тюремного комитета в том виде, как ее понимал Гааз. За стенами тюрьмы был целый мир, к которому еще недавно арестант был прикреплен всеми корнями своего существования. Не все они обрывались с того момента, как за ним захлопывались ворота тюрьмы. За стенами ее оставались семья, близкие, хозяйство, имущество; за стенами пребывал суд, пославший в тюрьму, определивший ее вид и назначивший ее срок; над этим судом был другой суд, к справедливости которого можно было в некоторых случаях взывать; наконец, надо всем этим виднелся в отдалении высший в государстве источник милости и милосердия. Но арестант был отрезан от этого мира. Между ним и этим миром стояли не только каменные стены замка, но и живая стена тюремного начальства, занятого прямыми своими обязанностями, подчас черствого, почти всегда равнодушного. Для него *все* было в поддержании и соблюдении порядка между *всеми*арестантами, а нужда, тревога или интерес отдельной личности — ничто или почти ничто...

Нужен был посредник между арестантом и внешним миром — не казенный, не замкнутый в холодные начальственные формы, выслушивающий каждого без досады, нетерпения или предвзятого недоверия, не прибегающий к поспешной и безотрадной ссылке на не допускающий возражений закон...

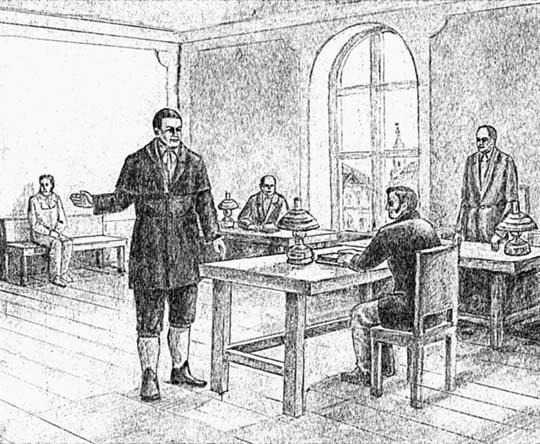
Уже вскоре по открытии комитета, в 1829 году, Гааз писал князю Голицыну о необходимости «prêter aux exilés et dètenus une oreille amicale dans tout ce qu’ils auront à communiquer...»[[15]](#footnote-15) и внес в 1832 году в свой проект обязанностей секретаря комитета пункт шестой, в силу которого «он в особенности должен исполнять обязанности стряпчего по воззванию арестантов, если бы кто из них стал требовать изложения письменной просьбы по делам своим». Мысль о необходимости быть посредником или, как выражался он, справщиком для арестантов не покидала его. Осуществляя ее на практике, он стремился к тому, чтобы упорядочить эту обязанность и возложить ее на определенных лиц. В 1834 году он представил в комитет подробный проект об учреждении должности справщика. Покуда проект этот крайне медлительно рассматривался комитетом, он и директор Львов, распределив между собою дни, объезжали арестантов, собирая сведения, и хлопотали *о* них, *за* них и *для* них. Наконец в 1842 году постановлением комитета официально учреждена должность *справщика и ходатая по арестантским делам*. На справщика независимо от обязанностей губернского стряпчего возложена была забота о том, «чтобы никто не был заключен в тюрьму противно разуму законов и сущности того дела, по которому он судится или прикосновен; чтобы всякий знал, в чем он обвиняется; чтобы не было опущено никаких справок и изысканий, требуемых им к своему оправданию; чтобы содержание в тюрьме не отягощалось медленностью и чтобы те, кого можно законом освободить, были освобождены». Этот справщик-ходатай имел право входить в сношение с канцеляриями присутственных мест и представлять о всем заслуживающем внимания и содействия князю Голицыну, из личных средств которого давалась сумма для его канцелярии. Первым ходатаем был назначен член комитета Павлов, затем в помощь ему поступил Коптев.

Таким образом, мысль Гааза была осуществлена в значительной ее части, и он, казалось, мог в этом отношении сказать: «Ныне отпущаеши», всецело отдавшись своей этапной деятельности. Но это лишь казалось...

Сначала все шло, по-видимому, успешно, но затем умер великодушный князь Голицын и вступили в силу наши обычные апатия и равнодушие к делу. В 1844 году Гааз уже входил в комитет с просьбою ассигновать 1400 рублей на канцелярию ходатая, а не на выкуп должников, как полагали некоторые, так как «это назначение почитает он важнейшим, ибо деятельная часть ходатайства по делам заключенных составляет прямую и неоспоримую обязанность комитета, члены которого должны дружелюбно выслушивать жалобы вверенных им людей». Указывая затем на готовность губернатора и прокурора принимать извинения и ходатайства членов комитета об арестантах, он не без горечи прибавляет, что «все нужды по сему предмету удовлетворялись бы, лишь бы члены комитета трудились выслушивать людей и жалобы их доводить до начальства; если же они не довольно исполняют сего сами, то пусть отыщут лицо, которое заменило бы их». Он даже вынужден был заявить, что, быть может, полезнее было бы иметь для таких поручений чиновника, приглашенного на жалованье, так как ему «смелее, нежели товарищу, предложить можно бы иметь заботу об исполнении своей обязанности и избегнуть вместе с тем опасности, состоящей в том, что, за исключительным наименованием двух членов комитета ходатаями, остальные охладевают и отклоняют от себя долг выслушивать просьбы арестантов, лежащий на каждом из них по призванию...».

С этого времени журналы комитета наполняются ходатайствами Гааза по различным арестантским нуждам, по пересмотру дел невинно осужденных, по вопросам о помиловании... Д. А. Ровинский вспоминал, что почти не проходило дня, чтобы к нему в прокурорскую камеру, где он пребывал с 1848 года в качестве губернского стряпчего, и затем в уголовную палату не приезжал Гааз за справками и с просьбами по делам заключенных. Не веря в бумажную борьбу с «отклонявшими от себя долг», он взял этот долг на себя и, как всегда и во всем, исполнял его свято по отношению к нуждавшимся, с полным забвением себя и с надоедливым упорством относительно судебного и иного начальства...

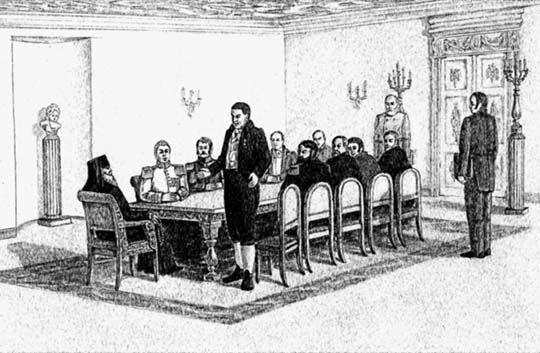
Так продолжалось до самой его смерти. Один из почтенных товарищей председателя московского окружного суда за первые годы его существования, с глубоким уважением вспоминая о деятельности Гааза в этом отношении, рассказывал, что, будучи еще молодым человеком и служа в управлении московского оберполицеймейстера, он был однажды в начале 50-х годов оторван от занятий стариком, назвавшимся членом тюремного комитета и просившим справки о положении дела о каком-то арестанте. Недовольный помехою и желая поскорее вернуться к прерванному делу, он резко указал на какие-то формальные недостатки в данных, по которым просилась справка, и отказал в ее выдаче. Старик торопливо поклонился и вышел. Между тем небо заволокло тучами и вскоре разразилась гроза, одна из тех, которые обращают на время московские площади в озера, в которые стремятся по крутым улицам и переулкам целые реки... Чрез два часа старик снова потревожил молодого чиновника. На нем не было сухой нитки... С доброю улыбкою подал он самые подробные сведения по предмету своей просьбы. Оказалось, что он ездил за ними на край города, в Хамовническую часть, несмотря на ливень и грозу... Это был уже семидесятилетний Федор Петрович Гааз — и трогательный урок, данный им, вызывал чрез много лет у рассказчика слезы умиления...



*...трогательный урок, данный им, вызывал чрез много лет у рассказчика слезы умиления...*

Говоря о деятельности Гааза как справщика и ходатая, необходимо остановиться и на его хлопотах о *помиловании*. Зная все недостатки современного ему судопроизводства, он относился недоверчиво к уголовному правосудию, отправляемому русскими судами. Хотя он понимал, конечно, что знаменитое «оставление в подозрении» — как результат системы формальных доказательств — обусловливает безнаказанность многих, но он не мог вместе с тем не знать, что возможность этого же самого оставления в подозрении при отсутствии собственного сознания и узаконенного числа свидетелей вызывала часто пристрастные действия полицейских следователей для получения сознания во что бы то ни стало. Следователь того времени по делам о тяжких преступлениях никогда не вел осады заподозренного, окружая его цепью отысканных и связанных между собою улик и косвенных доказательств. Это было долго, скучно, ненадежно, да — при уровне развития большинства следователей — и трудно. Осаде предпочитался штурм прямо на заподозренного, стремительность которого бывала часто в обратном отношении к его законности и даже основательности. Немудрено, что Гааз, которого ни в чем и никогда не удовлетворяла внешняя, формальная правда, сомневался в справедливости многих приговоров, на неправильность которых жаловались ему осужденные. В этих случаях пересмотр дела представлялся ему, помимо соображений об исчерпанном уже апелляционном и ревизионном производстве, делом святым, о котором нравственно необходимо хлопотать. Он знал также, что современный ему уголовный суд не знает индивидуальной личности преступника, что при разбирательстве дела живой человек стоит позади всего, в туманном отдалении, заслоненный кипами следственных актов и обезличенный однообразным канцелярским стилем следователя. Поэтому когда он становился лицом к лицу с осужденным, стараясь вдуматься в мысли, бродившие в полуобритой голове, и вглядеться в сердце, бившееся под курткою с желтым тузом на спине, пред его проникнутым жалостью к людям взором возникал совсем не тот злодей и нарушитель законов Божеских и человеческих, о котором шла речь в приговоре. И в этих случаях он считал своею обязанностью просить о помиловании, о смягчении суровой кары.

Поэтому в журналах московского тюремного комитета с 1829-го по август 1853 года записано сто сорок два предложения Гааза с ходатайствами о пересмотре дела, о помиловании осужденных или о смягчении им наказания. Покойный Д. А. Ровинский вспоминал эпизод, показывающий, с какою горячею настойчивостью отстаивал Федор Петрович свое заступничество. В 40-х годах, будучи губернским стряпчим, Ровинский, постоянно посещая заседания тюремного комитета, был очевидцем оригинального столкновения Гааза с председателем комитета знаменитым митрополитом Филаретом из-за арестантов. Филарету наскучили постоянные и, быть может, не всегда строго проверенные, но вполне понятные ходатайства Гааза о предстательстве комитета за невинно осужденных арестантов. «Вы все говорите, Федор Петрович, — сказал Филарет, — о невинно осужденных... Таких нет. Если человек подвергнут каре — значит, есть за ним вина...» Вспыльчивый и сангвинический Гааз вскочил с своего места. «Да вы о Христе позабыли, владыко!» — вскричал он, указывая тем и на черствость подобного заявления в устах архипастыря, и на евангельское событие — осуждение Невинного. Все смутились и замерли на месте: таких вещей Филарету, стоявшему в исключительно влиятельном положении, никогда и никто еще не дерзал говорить. Но глубина ума Филарета была равносильна сердечной глубине Гааза. Он поник головой и замолчал, а затем после нескольких минут томительной тишины встал и, сказав: «Нет, Федор Петрович! когда я произнес мои поспешные слова, не я о Христе позабыл — Христос меня позабыл!..» — благословил всех и вышел.



*Все смутились и замерли на месте: таких вещей Филарету, стоявшему в исключительно влиятельном положении, никогда и никто еще не дерзал говорить*

Особенно вызывали сострадание Гааза ссылаемые раскольники. Его любвеобильное сердце тщетно силилось почувствовать: почему некоторые из них могли быть сопричислены к уголовным преступникам?

Идущие через Москву ссылаемые раскольники и сектанты часто находили в нем заступника и ходатая. Сохранилось несколько писем, очень характерных и для него, и для писавших. «Не имею защитника и сострадателя, кроме Вас, — пишет ему в 1845 году крестьянин Евсеев, находящийся «далеко уже от царствующего града Москвы», — Вы одни нам отец, Вы брат, Вы — друг человеков!» «Спасите, помогите, Федор Петрович! — восклицает в 1846 году Василий Метлин. — Склоните сердце князя Щербатова (московский генерал-губернатор) ко мне, несчастному», — объясняя, что, содержимый два года в остроге и год в монастыре, он уголовною палатою оставлен в подозрении «касательно духовности или, лучше, религии», по обвинению в принадлежности к «масонской фармазонской молоканской вере» и велено его «удалить к помещику для исправления...».

«Трогательно для меня несчастие сих людей, — писал Гааз в 1848 году вице-президенту князю С. М. Голицыну, ходатайствуя за прибывших на Воробьевы горы трех стариков беспоповцев посада Добрянки, — а истинное мое убеждение, что люди сии находятся просто в глубочайшем неведении о том, о чем спорят, почему не следует упорство их почитать упрямством, а прямо заблуждением о том, чем угодить Господу Богу. А если это так, то все, без сомнения, разделять будут чувство величайшего об них сожаления; чрез помилование же и милосердие к ним, полагаю, возможнее ожидать, что сердца их и умы больше смягчатся...» Такие ходатайства не всегда встречали благосклонное отношение со стороны митрополита Филарета, бывшего последовательным и твердым противником всяких послаблений расколу, а приведенное ходатайство получило решительный и лаконический отпор и со стороны графа Закревского. «Вашему Сиятельству известно, — писал Гааз председателю тюремного комитета, — сколько раз в подобных случаях испрашивалась и достигалась Царская милость, — не соизволите ли принять на себя труд довести о сем новому начальнику нашему графу Арсению Андреевичу и преподать ему чрез то случай при первом среди нас появлении осчастливить некоторых сидящих в темнице несчастных примирением с ними милосердного Монарха и чрез то осчастливить и нас, имеющих назначение чрез христианское обхождение с заключенными внушать им о настоящем духе христианства и о жизни по-христиански...» Рассмотрев лишь чрез два месяца это ходатайство, комитет, «имея в виду, что люди сии уже проследовали по назначению», постановил «суждение о них прекратить, а записку доктора Гааза, предмет коей выходит из круга действий комитета, представить г-ну военному генерал-губернатору», по резолюции которого комитету приказано таких записок впредь не представлять. Иногда ходатайства Гааза бывали основаны и на обстоятельствах, не находившихся в связи с делом осужденного. В 1840 году он просит о помиловании шестидесятичетырехлетнего старика Михайлова, потому что тот имеет попечение о малоумном Егорове, кормит его, лечит и т. д.; в 1842 году просит об освобождении из-под стражи трех «аманатчиков», следующих с Кавказа в Финляндию для водворения, ввиду сурового климата последней страны, а также потому, что один из них, Магомет Азиоглы, проявил, помогая тюремному фельдшеру, большую понятливость, что вызвало со стороны его, Гааза, «привязанность к бедному молодому человеку».

Во многих случаях отказа комитета «заступиться» за тех, о ком он просил, Гааз шел дальше — обращался в Петербург к президенту Попечительного о тюрьмах общества, а если и здесь не встречал сочувствия — шел еще выше... Отказы, «оставления без последствий», обращения к «законному порядку» мало смущали его. Исчерпав все, он не отказывался от ходатайств на будущее время и не делал никаких ограничительных выводов для себя на это будущее. Наступал снова случай, где надо было, по его мнению, призывать милость к падшим и правосудие к невинным, и он снова ничтоже сумняся шел туда, «куда звал голос сокровенный» и где так часто встречали его с насмешкой, нетерпением и недовольством. В мае 1839 года он собрал одиннадцать случаев неуваженных комитетом ходатайств своих и писал о них президенту общества, а не получив никакого ответа, послал в январе 1840 года просьбу об уважении их Императору Николаю Павловичу. Она была передана в комиссию прошений, откуда в июне 1840 года была возвращена при оригинальном объявлении, что Гаазу следует обратиться куда следует, буде он находит сие основательным. «Нахожу ли основательным? — не без юмора пишет Гааз комитету. — Конечно, нахожу, ибо самое мое действие показывает, что нахожу основательным, иначе не утруждал бы самых достопочтеннейших особ и, конечно, не осмелился бы доводить до Высочайшего престола. Я столько убежден в основательности моего представления, что буде по одному из многочисленных из упомянутых в оном деле будет доказана моя несправедливость, то оставляю все другие. А затем по наставлению комиссии прошений прошу комитет подвергнуть сии дела внимательному рассмотрению». Комитет объявил ему, что так как в бумагах, им представленных, «изъясняются жалобы» на вице-президентов и на самый комитет, то комитет и не почитает себя вправе их рассматривать. Бедный Гааз увидел себя, таким образом, замкнутым в безвыходный cercle vicieux[[16]](#footnote-16) канцеляризма... Что он сделал далее — неизвестно. Быть может, прибег снова к средству писать за границу, как это он сделал по поводу прута... Он не был человеком, который останавливается в сознании своего бессилия пред бюрократической паутиною. К каким средствам прибегал он в решительных случаях, видно из рассказа И. А. Арсеньева, подтверждаемого и другими лицами, о посещении Императором Николаем московского тюремного замка, причем Государю был указан «доброжелателями» Гааза старик семидесяти лет, приговоренный к ссылке в Сибирь и задерживаемый им в течение долгого срока в Москве по дряхлости (по-видимому, это был мещанин Денис Королев, который был признан губернским правлением «худым и слабым, но к отправке способным»). «Что это значит?» — спросил Государь Гааза, которого знал лично. Вместо ответа Федор Петрович стал на колени. Думая, что он просит таким своеобразным способом прощения за допущенное им послабление арестанту, Государь сказал ему: «Полно! я не сержусь, Федор Петрович, что это ты, встань!» — «Не встану!» — решительно ответил Гааз. «Да я не сержусь, говорю тебе... чего же тебе надо?» — «Государь, помилуйте старика, ему осталось немного жить, он дряхл и бессилен, ему очень тяжко будет идти в Сибирь. Помилуйте его! я не встану, пока Вы его не помилуете...» Государь задумался... «На твоей совести, Федор Петрович!» — сказал он наконец и изрек прощение. Тогда счастливый и взволнованный Гааз встал с колен.



*Вместо ответа Федор Петрович стал на колени*

**ГЛАВА СЕДЬМАЯ**

Мы видели, какими способами старался Гааз осуществлять справедливое отношение к осужденному и проводить резкую грань между отбыванием наказания и напрасным отягощением и без того горькой участи виновного. Свято исполняя невзирая ни на что свой глубоко понимаемый нравственный долг, Федор Петрович мог бы приложить к своей деятельности прекрасную мысль, высказанную впоследствии Пастером: «Долг кончается там, где начинается невозможность».

Но одного справедливого и человечного отношения к виновному было мало. Нужно было деятельное сострадание к *несчастному*, нужно было призрение *больного*. А несчастных было много... Первый вид несчастия составляла беспомощность в духовном и житейском отношении. Встречаясь почти ежедневно с практическим осуществлением наказания, Гааз со свойственною ему серьезною вдумчивостью не мог не сознать, что если, с одной стороны, отсутствие настоящего религиозно-нравственного развития нередко лишало человека, смущаемого преступным замыслом, могущественного оружия для борьбы с самим собою, то, с другой стороны, отсутствие такого же назидания для совершившего преступление отнимало почти всякое исправительное значение у наказания и оставляло арестанта на жертву тлетворному влиянию тюрьмы и этапного хождения. Это отсутствие являлось своего рода несчастием, к отвращению которого со стороны «казны» ничего не предпринималось, а со стороны Попечительного общества в первое время его существования предпринималось очень мало. В сущности, все сводилось лишь к чисто формальному отношению духовенства к арестантам, да и то лишь в больших центрах. Между тем тюремным комитетам в этом отношении представлялась благодарная задача. Она достигалась раздачею книг Священного Писания и духовно-нравственного содержания. Арестанты принимали их с жадностью, читали с любовью. Евангелие являлось для многих из них неразлучным спутником, утешителем и разрешителем душевных недоумений; оно было светлым лучом в том мраке отчаяния и озлобления, который грозил овладеть ими изнутри, который окружал их извне.

Гааз принялся настойчиво заботиться о раздаче таких книг. В самом начале своей деятельности в качестве директора комитета он еще 5 февраля 1829 года выступил с заявлением о необходимости этой раздачи и о более широком применении случаев духовного напутствия арестованным. Он фактически взял все дело в свои руки и отдался заботе «о бедных, Бога ищущих и нуждающихся познакомиться с Богом», со всем пылом своей энергической натуры, ибо, как выражался он далее, «нужно видеть то усердие, с которым люди сии книги просят, ту радость, с которою они их получают, и то услаждение, с которым они их читают!..». Но деятельность его встречала двоякие внешние препятствия, не говоря уже о внутренних, тормозивших невидимо, но осязательно его труд в области непосредственного ознакомления несчастных и падших со словом «упокоения».

Первое препятствие составлял недостаток средств комитета, значительная часть которых уходила на чисто хозяйственные нужды. Покупая на счет комитета исключительно Священное Писание, Гааз стал на собственные средства приобретать для раздачи книги духовного и нравоучительного содержания, а когда ни комитетских, ни личных сумм ввиду увеличившейся потребности в книгах стало не хватать, он вошел в официальные сношения с богатым петербургским купцом Арчибальдом Мерилизом. «В российском народе, — писал он ему, прося помощи, — есть пред всеми другими качествами блистательная добродетель милосердия, готовность и привычка с радостью помогать в изобилии ближнему во всем, в чем он нуждается, но одна отрасль благодеяния мала в обычае народном: сия недостаточная отрасль подаяния есть подаяние книгами Священного Писания и другими назидательными книгами». За официальным обращением последовал, как видно из подробных ответов Мерилиза, ряд частных писем, результатом которых была в течение двадцати с лишком лет присылка Гаазу «англинским негоциантом» книг, совершаемая, как он выразился в своем представлении комитету, «с удивительною, неоцененною щедростью» (с 1831 по 1846 год Мерилизом было доставлено разных книг на 30 тысяч рублей, в том числе одних азбук 54 823 и Евангелий на разных языках 11 030). Из представленной Гаазом комитету ведомости видно, что в первые пятнадцать лет существования комитета им роздано 71 190 азбук церковных и гражданских, 8170 Святцев и Часословов, 20 350 книг Священной истории, Катехизисов и других духовного содержания, 5479 Евангелий на церковнославянском и русском языках, 1830 Евангелий на иностранных языках, 8551 Псалтирь на церковнославянском и русском и 584 на иностранных и т. д.

Но одною раздачею книг не ограничивался Гааз. Ему хотелось снабдить каждого арестанта, идущего в путь, нравственным руководством, изложенным систематически и направленным на разные неприглядные стороны жизни той среды, которая в количественном отношении поставляет наибольшее число нарушителей закона. В 1841 году он издал на свой счет книжку, in octavo[[17]](#footnote-17), напечатанную на плотной бумаге и заключающую в довольно толстой папке 44 страницы, под заглавием: «*А. Б. В. христианского благонравия. Об оставлении бранных и укоризненных слов и вообще неприличных насчет ближнего выражений, или О начатках любви к ближнему*». Книжка, напечатанная в огромном количестве экземпляров, начинается восемнадцатью текстами из Евангелия и посланий апостольских, проповедующими христианскую любовь, мир, телесную чистоту, кротость и прощение. Затем идет развитие этих текстов, подкрепляемое выписками из Священного Писания, из трактата «О любви Господней» святого Франциска де Саль и рядом нравоучительных рассказов, почерпнутых из истории и ежедневной жизни. В прочувствованных выражениях убеждает автор читателя не предаваться гневу, не злословить, не смеяться над несчастиями ближнего и не глумиться над его уродствами, а главное — не лгать. Книжка, проникнутая чувством искренней любви к людям, чуждая громких фраз, изложенная вполне удобопонятно и просто, но без всякой искусственной подделки под народное понимание, — высокомерие которой обыкновенно бывает равносильно незнанию народа, который берутся поучать, — заключается, как общим выводом и вместе заветом, словами апостола в Послании к Фессалоникийцам (1 Фес 5. 14): «Умоляю вас, братия, вразумляйте беспорядочных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых — терпеливы будьте ко всем...»

Эту книжку раздавал Гааз всем уходившим из Москвы по этапу. Чтобы книжечка не затерялась в пути и не стесняла арестанта, он «построил» для хранения ее особые сумочки, которые вешались владельцу книжечки на шнурке на грудь. И сумочки, и книжки он привозил с собою на этап и там наделял ими всех.

Сроднившись с простым русским человеком, изведав его в скорбях и падениях, Гааз знал его хорошо. Он знал и про доверие его к печатному слову, и про суеверное, боязливое отношение его к слову писанному. «Где рука — там и голова», — говорит этот народ. Этим его свойством воспользовался Гааз. «А. Б. В. христианского благонравия» оканчивается следующими словами: «Итак, уповая на всемогущую помощь Божию, от души обещаюсь во всех моих отношениях к ближним памятовать, яко правило, наставление святого апостола Павла: «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, исправляйте его в духе кротости, но смотрите и за собою, чтобы не впасть в искушение; носите бремена один другого и таким образом исполняйте закон Христов». В твердом намерении исполнять сии правила, то есть: 1) не употреблять бранных слов; 2) никого не осуждать; 3) не лгать и 4) соблюдать упомянутое наставление апостола, — для сильнейшего впечатления в душе своей... *подписуюсь*...» Затем следует чистая полустраница, на которой при раздаче книжек по просьбе Гааза умевшие писать ставили свою фамилию, а умевшие только читать ставили три креста, придавая этим всей книжке таинственный и выразительный характер какого-то договора, нарушать который становилось и грешно, и стыдно. Наивный способ, придуманный Гаазом для ограждения и отвращения арестантов от дурных наклонностей, может вызвать улыбку по адресу великодушного чудака... Но она едва ли будет основательна. За оригинальностью его выдумки кроется трогательная вера в лучшие стороны человеческой природы и доверие к способности простого русского человека к нравственному возрождению.

Осуществление этого доверия совершалось, однако, не без препятствий и пререканий. Далеко не все члены комитета сочувствовали Гаазу в этом отношении. В среде их, как видно из представления его от 19 ноября 1835 года, высказывались мысли о том, что чтение Евангелия простым человеком без *постоянного* руководительства, указания и авторитетного объяснения со стороны духовных особ может вызвать в нем наклонность к произвольным, односторонним и вредным толкованиям; что Евангелие, читаемое без всякого контроля, может быть орудием обоюдоострым; что книги Священного Писания должны выдаваться арестантам, во всяком случае, лишь по их просьбе, а не «навязываться» им и что, наконец, раздающий подобные книги должен действовать как врач, являющийся по приглашению больного, но не вторгающийся к нему без зова, и т. д. Наконец, некоторые высказывали (представление Гааза от 14 сентября 1845 года), что вообще раздача таких книг излишня, ибо не достигает цели, а самые книги попадают иногда в совершенно недостойные руки. Гааз опровергал эти соображения указанием на III пункт правил, преподанных обществу Попечительному о тюрьмах, обязывающий его «наставлять заключенных в правилах христианского благочестия и доброй нравственности, на оном основанной», и на XV пункт инструкции тюремному комитету, возлагавший на его попечение «снабжение арестантов книгами Священного Писания и другими духовного содержания». Он ссылался на свой собственный опыт, убедивший его, что и недостойные руки с благодарным умилением бережно развертывают «слово Божие», и приводил изречение Екклезиаста (11. 4) о том, что часто смотрящий на погоду не соберется никогда сеять и часто смотрящий на облака никогда не соберется жать, сравнивая этих «часто смотрящих» с теми, кто слишком много рассуждает о приличных случаях и надлежащих способах сеяния слова Божия, забывая в своей мнительности, что, по словам Спасителя, это слово сеется и на камне. Последние аргументы его не встретили, однако, сочувствия вице-президента комитета. «От людей мнительных и которые смотрят на погоду и на облака и от того не сеют и не жнут, — писал митрополит Филарет, — без сомнения, надобно отличать людей *благоразумных* и *осторожных*, которые не сеют во время морозной погоды и не жнут во время ненастной погоды; а Екклезиастово обличенье мнительности, без сомнения, не отвергает Христова правила об осторожности и об охранении святыни: «Не пометайте бисер ваших пред свиниями» (Мф 7. 6)» (письмо генерал-губернатору князю Щербатову 18 декабря 1845 года).

Второго рода внешнее препятствие к осуществлению во всей полноте желания Гааза относительно книг состояло в фактическом недостатке книг Священного Писания. «Удивительно и страшно будет слышать комитету, — писал он в 1845 году, — что Нового Завета на славянском наречии, не говоря уже о Новом Завете на русском языке, продававшихся прежде по 2 рубля 50 копеек и по 4 рубля, ни за какие ныне деньги Мерилиз достать в Петербурге не может. То же самое предвидится в скором времени и в Москве». Поэтому он настойчиво просит ходатайства комитета о Высочайшем соизволении на напечатание необходимого числа книг Нового Завета на русском и славянском языках в Синодальной типографии на счет комитета. Поддержанная митрополитом Филаретом просьба Гааза была принята к исполнению комитетом 30 декабря 1845 года, но лишь 26 апреля 1847 года комитету сообщен указ Святейшего Синода о разрешении напечатать на свой счет в московской Синодальной типографии три завода Нового Завета на славянском языке. Таким образом, в распоряжении Гааза благодаря его настояниям снова оказалась книга, необходимая для бедных, Бога ищущих и нуждающихся познакомиться с Ним. По-видимому, вскоре и в Петербурге перестал ощущаться указанный Мерилизом недостаток, так как из письма его к Гаазу от 5 декабря 1851 года видно, что за *последние годы* им было доставлено в Москву снова значительное количество книг Нового Завета.

Кроме духовного назидания, имевшего в виду *будущее* арестанта, последний часто и сильно нуждался в умиротворении смущенного духа и в религиозном утешении в *настоящем*. Чрез Москву шли в Сибирь в большом количестве инородцы и иноверцы. Гааз не только раздавал им книги, но, зная, что в течение долгого пути, да по большей части и на месте, они не встретят возможности услышать слова утешения от духовного лица своей веры и сказать пред ним слово покаяния, хлопотал о доставлении им этого утешения в Москве, иногда даже употребляя для этого стоившее ему стольких неприятностей оставление их в Москве при отправлении партий по этапу. В 1838 году он представлял комитету и настойчиво ходатайствовал пред гражданским губернатором об оставлении всех ссылаемых в Сибирь поляков на одну неделю в Москве для исповеди и святого причащения, «дабы они укрепились сердечно пред вступлением в новую для них жизнь».

Смущало его и душевное состояние приговоренных к «торговой казни», то есть к наказанию плетьми, пред исполнением ее — упадок их духа, их отчаяние и мрачное озлобление в ожидании предстоящего истязания опытною и тяжкою рукою палача. Он выписал в 1847 году на отдельных листках из Фомы Кемпийского («О подражании Христу», III, 29) молитву и дал ее нескольким арестантам, очень волновавшимся пред предстоящею торговою казнью. По замечанию директора комитета Фонвизина, чтение этой молитвы благотворно и успокоительно подействовало на трех из этих арестантов — и Гааз тотчас же стал настаивать в комитете на том, чтобы эту молитву напечатать на особых листах для раздачи в губернском тюремном замке. Он встретил возражение со стороны митрополита Филарета. «Молитва эта, — объяснял московский владыка, как записано в журналах комитета, — есть изложение слов Христовых, читаемых в Евангелии от Иоанна (12. 28), но прилично ли молитву Спасителя пред крестным страданием приложить к преступнику пред наказанием его?» Впрочем, не отрицая, что «молитва сия могла оказать действие по вере и любви давшего ее, коего и надобно просить, чтобы он не прекращал своего христианского действования, и по действию послушания принявших ее, в чем также есть уже некоторая степень веры», Филарет предложил заменить предложенную Гаазом молитву вновь составленною молитвою заключенного в темнице, одобрив также и молитву Ефрема Сирина, что и было принято комитетом с признательностью к исполнению. Обе молитвы были напечатаны на 600 листах для раздачи в местах заключения, и добрая цель Гааза, который, конечно, не стоял безусловно за тот или другой текст молитв, была достигнута.

Но не в одном непосредственном религиозном утешении нуждались заключенные и отправляемые в Сибирь. Они страдали и от отсутствия *житейских* утешений, а иногда и прямой *материальной помощи*. Тяжесть разлуки с родными и близкими или крайняя скупость свиданий с ними усугублялась для многих отсутствием всяких сведений с родины; на пороге отбытого наказания их встречала обыкновенно полная беспомощность, голодание и незнание, куда приклонить голову; лишение свободы делало нередких из них жертвами корысти своих насильственных сотоварищей или злоупотребления приставников; умирая, некоторые оставляли сирот, для которых прекращалось даже и мрачное гостеприимство тюрьмы; и, наконец, тот, кто попадал по признанной судебной ошибке в Сибирь, не имел обыкновенно средств выбраться оттуда. Во всех этих и им подобных случаях нужно было и своевременное утешение, и деятельная помощь. Тутто и проявляло себя «святое беспокойство» Гааза. Журналы комитета переполнены указаниями на его многоразличные хлопоты в этом отношении. Так, в 1833 году он настаивает на ходатайстве в законодательном порядке о разрешении *сестрам* ссылаемых следовать за одинокими *братьями*; в 1835 году просит дозволить арестантам сверх установленных дней иметь свидание с родными в день Нового года — и вообще пользуется всяким поводом, чтобы увеличить дни свиданий. Заходит, например, в комитете в 1839 году речь об итогах десятилетней его с основания деятельности, Гааз предлагает в ознаменование дня открытия комитета разрешить ежегодно в этот день свидания арестантам; по поводу дней рождения и кончины основателя Попечительного о тюрьмах общества Императора Александра I он предлагает ознаменовать их разрешением арестантам свиданий.

Почти каждый журнал содержит в себе заявления Гааза о доставке в Сибирь писем и книг ссыльным, о пересылке им денег, о сообщении им разных сведений по их делам и ходатайствам. Все это требовало больших забот, хлопот и личных расходов. Чтобы доставить комунибудь вопиющему из Сибири справку о положении его просьбы или сведение о том, что делается с его семейством, нужно было подчас производить целые дознания, просить, дожидаться, платить. Нужно было тратить время и труд не только на добычу всего этого, но и на сообщение о результатах. Приходилось торопливою рукою смягчать подчас горькую действительность, не скрывая истины, на что Гааз был совершенно неспособен; приходилось писать слова ободрения, утешения и чуткою душою искать в чуждом языке слов, которые с наименьшей болью вонзались бы в исстрадавшееся сердце и разрушали давно лелеянные надежды. Одним словом, нужно было, по прекрасному выражению Мицкевича, «иметь сердце и смотреть в сердце». И все это надлежало делать среди множества других занятий — между посещением больницы и этапа, острога и комитета, отписываясь и отсчитываясь от начальства и не упуская приходить на помощь к разным, как их называл Гааз, приватным несчастным лицам...

Трудно перечислить все отдельные проявления этой деятельности утрированного филантропа. То он систематически, чрез известные сроки, требует от комитета денег (обыкновенно по 100 рублей) для помощи *семействам* арестантов и представляет в них отчет; то распределяет испрошенные им у г-жи Сенявиной тысячу рублей между нуждающимися арестантками; то берет на свое поручительство слабосильных ссылаемых и доставляет их на свой счет в места водворения (например, Прокофьева — в 1841 году, Свинку — в 1847 году); то пересылает им вещи и книги (например, посылает в 1840 году в Ялуторовск книги ссыльному Еремину и в 1844 году — в Яркутск ссыльному Прохору Перину «Потерянный рай» Мильтона); то просит в 1851 году комитет ходатайствовать об обмене ассигнаций старого образца, «всученных» кем-то обманом, по истечении срока обмена, арестанту Доморацкому, возвращаемому из Сибири на родину в Волынскую губернию; то деятельно содействует в 1843 году директору комитета Львову, человеку тоже сердечно служившему улучшению быта арестантов, в учреждении приюта для выходящих из тюрем; то вносит для раздачи освобождаемых из мест заключения собранные им у «благотворительных особ» 750 рублей серебром; то хлопочет о надзоре за воспитанием двух круглых сирот-девочек, отданных тюремным начальством по смерти их материарестантки какомуто поручику Сангушко; то сам доносит комитету, что убедил вдову купца Мануйлова взять на воспитание трехлетнего сына умершей арестантки, «не помнящей родства»; то настаивает на расследовании жалоб арестантов пересыльной тюрьмы на неполное возвращение им отобранных у них вещей; то, наконец, усомнясь в справедливости осуждения за поджог некоего шемахинского жителя Генерозова, просит комитет дать ему средства отправиться в Сибирь с семейством на поселение не по этапу — и, получив отказ комитета, покупает ему на свой счет лошадь, а затем, когда невиновность Генерозова действительно открылась, высылает ему от одной благотворительной особы 200 рублей для возвращения из Сибири, и т. д. и т. д.

Арестантов, приходивших в Москву, встречала и ободряла молва о тюремном докторе, который понимает их нужды и прислушивается к их скорбям; уходившие часто уносили о нем прочное и благодарное, надолго неизгладимое воспоминание. И кто знает! быть может, не менее сильно, чем раздаваемые им книги, действовала на них в далекой Сибири облагораживающим и умиротворяющим образом память о человеке, который так просто и вместе горячо осуществлял на деле то, что как идеал было начертано в этих книгах? Могло ли не утешать и не укреплять многих из этих злополучных, загнанных судьбою в пустыни и жалкие поселения Восточной Сибири сознание, что в далекой Москве, как сон промелькнувшей на их этапном пути, есть старик, который думает о их брате, скорбит и *старается* о нем. А старик действительно думал непрестанно...

Покойный сенатор Виктор Антонович Арцимович рассказывал нам, что в числе молодых чиновников, сопровождавших ревизовавшего в 1851 году Западную Сибирь сенатора Анненкова, он проезжал чрез Москву и осматривал вместе с другими спутниками последнего местный тюремный замок. Ознакомить их с замком было поручено молодому еще и блестящему чиновнику особых поручений при генерал-губернаторе. При входе в одну из камер он объяснил идущим за ним по-французски, что в ней сидит человек, недавно осужденный за убийство из ревности, при весьма романтических условиях, молодой жены, изобличенной им в неверности, — и, вызвав арестанта из строя вперед, предложил ему рассказать, *как* и *за что* он лишил жизни жену. Тот потупился, понурил голову, краска густо залила ему лицо, и, тяжело вздохнув, он начал сдавленным голосом свою историю. Но не успел он сказать и десяти слов, как от дверей камеры отделился стоявший в них старик с энергическим лицом, одетый скромно и бедно, в костюм начала столетия. Шагнув вперед, он гневно взглянул на чиновника, любезно старавшегося занять петербургских гостей, и резко сказал ему: «Как вам не совестно мучить этого несчастного такими вопросами и зачем этим господам знать о его семейной беде?» — а затем, по-видимому даже не допуская возражений, повелительно крикнул рассказчику: «Не надо! не надо! не смей об этом говорить!..» Чиновник особых поручений сконфуженно улыбнулся, переглянулся со смотрителем и, презрительно пожав плечами, молча повел посетителей дальше. «Кто это?» — спросил Арцимович смотрителя. «Это? Да разве вы не изволите знать? Это Федор Петрович. Федор Петрович, доктор Гааз!..» Когда чрез год Арцимович возвращался назад, то остановился, торопясь в Петербург, лишь на самый краткий срок в Москве. Вернувшись довольно поздно, далеко за полночь от знакомых, он уже ложился спать, когда к нему постучали и в отворенную слугою дверь вошел запыхавшийся от высокой лестницы Ф. П. Гааз. Быстро покончив с извинениями в том, что после целого дня поисков потревожил своим приходом так поздно, пришедший сел на край кровати удивленного Арцимовича, взял его за руку и, взглянув ему в глаза доверчивым взглядом, сказал: «Вы ведь видели *их* в разных местах — ну как *им* там? Не очень ли *им* там тяжело? Ну что *им* там особенно нужно?.. Извините меня, но мне *их* так жалко!..» И растроганный Арцимович почти до утра рассказывал своему необычному посетителю о *них* и отвечал на его расспросы.

Тот же В. А. Арцимович был во второй половине 50-х годов в Тобольске губернатором. При объезде губернии он остановился однажды в одном из селений в избе у бывшего ссыльнопоселенца, давно уже перешедшего в разряд водворенных и жившего с многочисленною семьею широко и зажиточно. Когда Арцимович, уезжая, сел уже в экипаж, вышедший его провожать хозяин, степенный старик с седою, окладистою бородой, одетый в синий кафтан тонкого сукна, вдруг упал на колени. Думая, что он хочет просить каких-либо льгот или полного помилования, губернатор потребовал, чтобы он встал и объяснил, в чем его просьба. «Никакой у меня просьбы, Ваше Превосходительство, нет, и я всем доволен, — отвечал, не поднимаясь, старик, — а только... — и он заплакал от волнения, — только скажите мне хоть Вы, ни от кого я узнать толком не могу, скажите: *жив ли* еще в Москве *Федор Петрович*?!»

В жизни Гааза было происшествие, которое, обратившись потом в легенду, связывалось иногда с другими именами, и, между прочим, с именем покойного присяжного поверенного Доброхотова. Но в письме, полученном пишущим эти строки в 1897 году от Д. И. Рихтера, проведшего свое детство в Москве и посещавшего с отцом своим, лично знавшим Федора Петровича, могилу последнего на Введенских горах, удостоверяется, что это произошло именно с Гаазом. В морозную зимнюю ночь он должен был отправиться к бедняку больному. Не имев терпения дождаться своего старого и кропотливого кучера Егора и не встретив извозчика, он шел торопливо, когда был остановлен в глухом и темном переулке несколькими грабителями, взявшимися за его старую волчью шубу, надетую, по его обычаю, внакидку. Ссылаясь на холод и старость, Гааз просил оставить ему шубу, говоря, что он может простудиться и умереть, а у него на руках много больных, и притом бедных, которым нужна его помощь. Ответ грабителей и их дальнейшие внушительные угрозы понятны. «Если вам так плохо, что вы пошли на такое дело, — сказал им тогда старик, — то придите за шубой ко мне, я велю ее вам отдать или прислать, если скажете куда, и не бойтесь меня, я вас не выдам, зовут меня доктором Гаазом, и живу я в больнице в Малом Казенном переулке... А теперь пустите меня, мне надо к больному...» — «Батюшка, Федор Петрович! — отвечали ему неожиданные собеседники. — Да ты бы так и сказал, кто ты! Да кто ж тебя тронет, да иди себе с Богом! Если позволишь, мы тебя проводим...»



*Да кто ж тебя тронет, да иди себе с Богом! Если позволишь, мы тебя проводим...*

**ГЛАВА ВОСЬМАЯ**

Второй вид *несчастия*, тяготевшего не только над отдельными личностями, но и над всею Россиею и вносившего язву бесправия и во многих случаях безнравственности в ее общественный быт, представляло крепостное право. «В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена!» — восклицал Хомяков в гневном порыве сердца, горячо любящего Россию и верующего в ее великую будущность. Крепостное право давало себя чувствовать почти во всех отправлениях государственного организма, нередко извращая их и придавая им своеобразный оттенок. Отражалось оно и на карательной деятельности, создавая наряду с осуществлением наказания, определенного судебным приговором, еще и наказание, налагаемое по усмотрению владельца «душ», к услугам которого были и тюрьма, и ссылка.

История крепостного права в России показывает, что неоднократно возникавшее у Императора Николая Павловича намерение ограничить проявление этого права и подготовить его упразднение встречало явное несочувствие в окружавшей его среде и что статьи закона, определявшего содержание крепостной власти, возбуждавшие сомнения и требовавшие толкования, после долгих проволочек и откладываний упорно и настойчиво разъяснялись мнениями Государственного совета и изворотливыми решениями Сената в суровом смысле, имевшем почти всегда в виду исключительно интересы помещиков. Достаточно припомнить историю предполагавшегося еще при Александре I воспрещения продажи людей поодиночке и без земли, которое в 1834 году было надолго похоронено Департаментом законов «в ожидании времени, когда явятся обстоятельства, благоприятные столь важной перемене», причем еще ранее знаменитый Мордвинов, блистательно подтверждая слова Дениса Давыдова: «А глядишь, наш Лафайет, Брут или Фабриций...», доказывал благотворность продажи людей поодиночке тем, что при ее посредстве «от лютого помещика проданный раб может переходить в руки мягкосердого господина».

Поэтому и карательная власть помещиков не только узаконялась в самых широких пределах, но и получала в некоторых разъяснениях к закону едва ли предвиденное им дальнейшее расширение. Лишь в случае совершения крепостными важнейших преступных деяний, влекущих лишения всех прав состояния, помещик должен был обращаться *непременно* к суду. Во всех остальных случаях, когда крепостному приписывалась вина против помещика, его семейства или управляющего, его крестьян и дворовых или даже и посторонних, но обратившихся к заступничеству помещика или управляющего, крепостного наказывали домашним образом, без суда, розгами или палками и арестом в сельской тюрьме. Контроля над числом розог или палок не было, да и быть не могло, а устройство сельской тюрьмы и ее «приспособлений» предоставлялось усмотрению и изобретательности владельцев, знакомство коих с сочинениями Говарда и докладами квакеров и Венинга было более чем сомнительно. Если вина представлялась особо важною или меры домашнего исправления оказывались безуспешными, виновные отсылались на основании 335-й и 337-й статей XIV тома Свода законов (изд. 1842 года) в смирительные и рабочие дома, а также в арестантские роты на срок, «самим владельцем определенный». Лишь в 1846 году этот срок был установлен законом, а именно: для смирительного и рабочего дома до трех месяцев, а для арестантских рот до шести месяцев. Но если этого ввиду «продерзостных поступков и нетерпимого поведения» провинившегося казалось помещику или до 1854 года его управляющему мало, то они имели право лишить виновного своего отеческого попечения и удалить его от себя навсегда, отдав в зачет или без зачета в рекруты, или предоставить его в распоряжение губернского правления, которое на основании указа 1822 года, «не входя ни в какое разыскание о причинах негодования помещика», свидетельствовало предоставленного и в случае годности к военной службе обращало в оную, а в случае негодности направляло на поселение в Сибирь. В 1827 году альтернативность распоряжений губернского правления была ограничена, и в случае, если помещик представлял для ссылаемого одежду и кормовые деньги до Тобольска и обязывался платить за него подати и повинности до ревизии, последний шел прямо на поселение в Сибирь, если только не был дряхл, увечен или старше пятидесяти лет, причем с ним должны были следовать жена (хотя бы до замужества она и была свободного состояния) и дети — мальчики до пяти лет от роду, девочки до десяти лет (том XIV, изд. 1842 года, статья 352). Наконец, помещикам было в 1847 году разрешено удалять несовершеннолетних от восьми до семнадцати лет возраста за порочное поведение отдачею их в распоряжение губернского правления, которое сдавало мальчиков в кантонисты, а девочек распределяло по казенным селениям. Это распоряжение, допускавшее даже и в осьмилетних «продерзостные поступки и нетерпимое поведение» и дававшее возможность самого мучительного произвола по отношению к их родителям, сначала стыдливо скрывалось в тиши безгласности, не будучи распубликовано во всеобщее сведение, но в 1857 году оно подняло забрало и появилось на страницах Свода в 403-й статье тома XIV.

Как велико было количество ссылаемых по распоряжению помещиков, ныне, за отсутствием статистических сведений, определить трудно, но что оно было значительно, видно уже из того, что в журналах московского тюремного комитета с 1829 года по 1853 год имеется 1060 статей, относящихся к разным вопросам, возникавшим по поводу ссылаемых помещиками крестьян и дворовых. В этих статьях содержатся указания на 1382 человек, подвергнутых удалению в Сибирь, при коих следовало свыше 500 жен и малолетних детей. Из представленной, например, Гаазом генерал-губернатору ведомости о лицах (57), задержанных им на этапе при отправлении 20 августа 1834 года партии в 132 человека, видно, что в числе этих 57 было 17 человек в возрасте от тридцати одного года до пятидесяти лет, ссылаемых по распоряжению трех помещиц и одного помещика, причем за ними следовало добровольно семь жен и двое детей — шести месяцев и четырех лет. Искать справедливости или правомерности в каре, постигавшей этих людей, было бы излишним трудом. Бесконтрольное усмотрение, само определяющее свои основания, предоставленное помещикам, в самом себе заключало и достаточный повод для сомнения в справедливости и человечности предпринятой карательной меры. Там, где человеку было присвоено в виде собственности много душ, дозволительно было сомневаться, ощущал ли он подчас, под влиянием «негодования», в себе свою собственную. Эти соображения вместе с рассказами и скорбью ссылаемых не могли не влиять на Гааза. Пред ним не было «непокорных рабов», уже искупивших в его глазах, во всяком случае, свою вину, если она и была, перенесенными нравственными страданиями и своевременными «домашними» мерами исправления; пред ним были *несчастные люди*, и он всеми мерами старался смягчить их несчастие, действуя и на почве юридической, и на почве фактической.

В первом отношении он возбудил в комитете вопрос о толковании 315-й и 322-й статей Устава о предупреждении и пресечении преступлений тома XIV Свода законов 1832 года. Пользование предоставленным помещикам 315-й статьею правом отсылать в Сибирь своих крепостных не было бесповоротным, так как 322-я статья давала им право просить о возвращении этих людей, если еще не состоялось определение губернского правления о ссылке или когда оно не приведено еще на месте в исполнение. Это последнее недостаточно определенное выражение закона на практике толковалось весьма различно. Одни — и между ними московское губернское правление, а также московские губернские прокуроры, до назначения в эту должность уже после смерти Гааза Д. А. Ровинскаго, — признавали, что слова *на месте* обозначают местное губернское правление по месту жительства помещика и что поэтому момент отправки ссылаемого из губернского города закрывает всякую возможность ходатайства о его возвращении; другие находили, что под *исполнением* на месте надо разуметь доставление администрациею ссылаемого на этапный пункт, где он поступает в ведение чинов отдельного корпуса внутренней стражи и о нем посылается уведомление в тобольский приказ о ссыльных. Наконец, третьи — и в том числе прежде всех Гааз, опиравшийся в своем толковании, как он выражался в комитете, на мнение одного чиновника Правительствующего Сената, с которым он ездил советоваться, — считали, что *местом* приведения в исполнение определения губернского правления, состоявшегося по требованию помещика, следует признавать Сибирь, так что право возвратить крепостного должно принадлежать помещику до самого водворения сосланного в назначенном для него месте — следовательно, во все время пути по России и Сибири. Вопрос о применении такого толкования был возбужден Гаазом при обсуждении просьбы орловского помещика К. о возвращении ему из московской пересыльной тюрьмы сосланного им в Сибирь дворового, но комитет с ним не согласился и отказал помещику. Последний, вероятно сознавая поспешность и несправедливость принятой им меры и желая исправить последствия своих действий, заявил комитету, что отказывается от всяких прав на своего дворового и просит лишь освободить его от следования в Сибирь. Но комитет остался непреклонен. Тогда Гааз обратился с ходатайством к генерал-губернатору об испрошении Высочайшего повеления об отмене распоряжения орловского губернского правления и вместе с тем вошел в комитет с представлением, в котором подробно развивал свой взгляд. Он подкреплял его ссылками на законы о бродягах, указывая, что крепостные, задержанные как бродяги, по их опознании возвращаются владельцам даже и из Сибири, с места водворения. Он прибегал к грамматическим и логическим толкованиям 322-й статьи XIV тома и к ряду нравственных соображений и требовал ходатайства комитета об истолковании в законодательном порядке приведенной статьи в изложенном им смысле для одинакового повсюду ее применения. Поддерживая свое представление в комитете и исходя из мысли о необходимости дать помещику возможность одуматься и, вырвавшись из-под гнета гнева, исправить причиненное им в ослеплении раздражения зло, Гааз становился и на утилитарную почву, говоря: «Сим помещик может предупреждать преступления между крепостными людьми, а именно способом действия на нравственность своих людей правом помилования». Великодушное домогательство его не было, однако, уважено комитетом, и на представлении его, кроме пометы: «Читано 24 июля 1842 года», никакой другой резолюции нет...

Значительно успешнее боролся он против волновавших его сердце крайних проявлений крепостного права на почве фактической, где вопрос редко принимал принципиальный характер. Осуществление права ссылки крепостных имело одну особенно мрачную сторону. Воспрещая продавать отцов и матерей отдельно от детей, закон оставил без всякого разрешения вопрос о судьбе детей ссылаемых помещиками крепостных. Разлучить со ссылаемым мужем жену помещики не имели права, но отдать или не отдать ссылаемому и следовавшей за ним жене их детей, достигших мальчики пятилетнего, а девочки десятилетнего возраста, зависело вполне от расчета и благосклонного усмотрения безапелляционных решителей их судьбы. Судя по делам московского тюремного комитета, дети отдавались родителям скупо и неохотно, за исключением совершенно малолетних, не представлявших из себя еще на долгое время какой-либо рабочей силы. Чем старше были дети, тем труднее было получить для них увольнение. Можно себе представить состояние отцов и в особенности матерей, которым приходилось, уходя в Сибирь, оставлять сыновей и дочерей навсегда, без призора и ласки, зная, что их судьба вполне и во всех отношениях зависит от тех, кто безжалостною рукою разрывал связи, созданные природою, освященные Богом...



*Можно себе представить состояние отцов и в особенности матерей, которым приходилось, уходя в Сибирь, оставлять сыновей и дочерей навсегда...*

Гааз горячо хлопотал о смягчении этого печального положения вещей. Журналы тюремного комитета полны его ходатайствами о сношении с помещиками для разрешения детям ссылаемых крепостных следовать в Сибирь за родителями. Со свойственным ему своеобразным красноречием рисует он пред комитетом тяжкое положение матерей, настойчиво взывая о заступничестве комитета за драгоценнейшие человеческие права... «Nolite quirites hanc saevitiam!»[[18]](#footnote-18) — слышится во всех его 217 ходатайствах этого рода. А «saevitia» была столь большая, что горячая просьба Гааза нередко трогала комитет, побуждая его чрез местных губернаторов входить в сношения с помещиками или, вернее, помещицами, ибо надо заметить, что по меньшей мере в трех четвертях всех случаев подобных сношений, оставивших свой след в журналах комитета, приходилось иметь дело с помещицами. Иные барышни, возросшие на крепостной почве, почувствовав в руках власть, как видно, быстро забывали и чувствительные романсы, и нравоучительные романы и поспешно стирали с себя невольный поэтический налет молодости. Так, например, в 1834 году чрез московскую пересыльную тюрьму проходят восемь человек женатых крестьян московской помещицы Авой в сопровождении жен, но при них отпущено всего лишь двое детей — девочка шести лет и мальчик четырех месяцев; в том же году проходят семь мужчин, крепостных г-жи Гой, из коих сопровождаются женами четыре — и при них отпущена лишь одна малолетняя девочка; в 1836 году помещица Р-на ссылает в Сибирь крестьянина Семенова, за которым следует жена, четыре малолетних сына и отпущенный с согласия госпожи, для сбора подаяний, престарелый отец Семенова, но на ходатайства комитета об отпуске трех остальных сыновей, тринадцати, пятнадцати и семнадцати лет, Р-на сначала отвечает отказом, а затем после долгой переписки наконец соглашается отпустить младшего, Андрея, с тем, однако, чтобы ей не нести никаких по препровождению его в Сибирь, вдогонку за родителями расходов, в чем комитет ее и успокаивает. В 1843 году комитет по настоянию Гааза ходатайствует пред помещицей Кой о разрешении следующей за ссылаемым по ее распоряжению мужем крестьянке Лукерье Климовой взять с собою трехлетнюю дочь, но Ква согласия на это, прямо даже вопреки закону, не изъявляет. Тогда, как записано в журнале от 3 августа, доктор Ф. П. Гааз, очевидно опасаясь канцелярской волокиты при переписке об обязанности Кой отпустить дочь Климовой, по окончании которой фактически окажется невозможным отправить в Сибирь трехлетнего ребенка за ушедшей раньше матерью, «изобразив отчаяние матери при объявлении ей такового отказа, просит комитет испытать последнее средство: довести до сведения помещицы чрез калужский тюремный комитет, не склонится ли она на просьбу матери за некоторое денежное пожертвование, предлагаемое *чрез него* одним *благотворительным лицом*. Сокрушение Климовой тем более достойно сожаления, что она не может удовлетворить матернему чувству иначе, как оставив идущего в ссылку мужа...».

Заявления Гааза об  *одном благотворительном лице*, желающем, оставаясь неизвестным, облегчать чрез него, Гааза, страдания родителей, разлучаемых с детьми, довольно часты, особливо в 30-х годах, и, по-видимому, находятся в связи с постепенным исчезновением личных средств, приобретенных им когда-то обширною медицинскою практикою. С 1840 года ему приходит на помощь Федор Васильевич Самарин (отец Юрия и Дмитрия Федоровичей), который принимает на себя пожизненное обязательство вносить ежегодно по 2400 рублей ассигнациями в комитет, с тем, чтобы из них производились пособия «женам с детьми, сопровождающим в ссылку несчастных мужей своих», а также тем из осужденных, «кои вовлечены в преступление стечением непредвиденных обстоятельств или пришли в раскаяние после содеянного преступления». Из этого капитала оказывалась по просьбам и указаниям Гааза помощь и детям крепостных. Так, например, в 1842 году помещица В-ва ссылает в Сибирь своего крестьянина Михайлова и не разрешает жене его взять с собою никого из шести человек малолетних детей. Выслушав в пересыльной тюрьме печальную повесть Михайловой, Гааз поднимает тревогу, и г-жа В-ва после неоднократных просьб комитета постепенно отпускает с родителями пять человек детей в возрасте от пяти до тринадцати лет и, наконец, уже в 1844 году, последнюю, Ефимью, шестнадцати лет от роду, за небольшое вознаграждение со стороны одной благотворительной особы. Но Ефимья, отправленная в Сибирь на средства из самаринского капитала, не застает уже родителей, умерших еще в 1843 году в Тюмени, и тогда ей посылается из того же капитала еще 200 рублей на обратный путь вместе с другими сиротами. Так, в 1847 году отпущена следовать за мужем, ушедшим в ссылку раньше, крестьянка Феодосья Ильина с четырьмя малолетними детьми. Ввиду неизвестности пребывания мужа в Сибири по особому настоянию Гааза ей разрешается идти не с партиею, и из сумм самаринского капитала рассылается по местным тюремным комитетам на большом сибирском тракте 250 рублей серебром для выдачи по частям Ильиной.

Но не один выкуп крепостных детей для возвращения их родителям был по почину Гааза совершаем московским тюремным комитетом (всего с 1829-го по 1853 год выкуплено на свободу на средства комитета и главным образом на представленные и собранные Гаазом деньги 74 души).

Этот неутомимый заступник за несчастных побуждал иногда комитет к действиям, имевшим в виду устранение тяжелых страданий, не только уже существующих в настоящем, но и предполагаемых в будущем. Так, например, в 1838 году Гааз сообщал комитету, что содержащийся в тюремном замке не помнящий родства бродяга Алексеев, «случаем чтения Нового Завета тронутый словом Божиим, смирился силою совести и открыл, что он — беглый дворовый помещика Д., к которому и должен быть ныне отправлен». Опасаясь, однако, что Алексеев будет подвергнут своим владельцем суровым наказаниям, он убеждал комитет принять меры «к умягчению гнева помещика» и о том же в особой записке просил местного губернатора, к которому комитет со своей стороны постановил препроводить заявление Гааза. Так, в 1847 году он принимает теплое участие в судьбе крестьянина помещика К., Философа Кривобокого, возвращаемого к владельцу с женою и маленькою дочерью; так, в 1844 году он просит комитет войти в несчастное положение дворового мальчика помещика Р., Селиверста Осипова, у которого от отмороженных ног отпали стопы и которого желательно обучить грамоте и пристроить куда-нибудь, если Р. согласится дать ему свободу...

**ГЛАВА ДЕВЯТАЯ**

Была в заключении еще одна категория людей, по большей части тоже *несчастных*, так как не одних провинившихся против уголовного закона или против помещиков принимала в свои стены московская тюрьма разных наименований. В нее вступали и виновные в неисполнении своих гражданских обязательств. Внутри здания губернских присутственных мест, на Воскресенской площади, рядом с Иверскою часовнею, на месте нынешней Городской думы, помещалась знаменитая «яма». Так называлась долговая тюрьма, место содержания неисправных должников, находившееся ниже уровня площади. Здесь в разлуке с семьею, в принудительном сообществе случайных сотоварищей по заключению, в вынужденном бездействии содержались неисправные должники, относительно которых угроза кредиторов «посадить в яму» была фактически осуществляема представлением кормовых денег. Население ямы было довольно пестрое: в ней, как видно из замечаний сенатора Озерова, сделанных еще в 1829 году, содержались также дворовые люди, присланные помещиками «в наказание», и очень стесняли других жильцов ямы. Единство и равенство в способах надзора и размерах ограничения личной свободы существовало только на бумаге.

Среди этого населения была группа совершенно своеобразных должников. Это были бывшие арестанты, отбывшие свои сроки наказания в тюрьме, рабочем и смирительных домах, но имевшие несчастие заболеть во время своего содержания под стражею. Их лечили в Старо-Екатерининской больнице, и стоимость лечения, по особому расписанию, вносили в счет. Когда наступал день окончания срока заключения, освобождаемому предъявляли этот счет, иногда очень крупный, если тюрьма при своих гигиенических порядках наградила его недугами, требовавшими продолжительного лечения. Обыкновенно у освобождаемого, который почти при полном отсутствии правильно организованных работ в месте заключения часто выходил из него гол как сокол, не было средств уплатить по счету, и его переводили в яму, зачисляя должником казны. Срок пребывания в яме сообразовывался с размером недоимки... Несомненно, что такие «неисправные должники» чувствовали на себе и в нравственном, и в материальном отношении тяжесть сиденья в яме — после промелькнувшей пред ними возможностью свободы — с особою силою. Самое пребывание их в ней звучало для них горькою ирониею. Заслужив себе свободу иногда несколькими годами заключения за преступление, они лишались ее вновь за новую вину, избежать которой было не в их власти: они дозволили себе быть больными!

Впрочем, из рассмотрения дел московского тюремного комитета оказывается, что содержание в яме являлось привилегией особо избранных, а крестьяне и в особенности крестьянки оставлялись «на высидке до уплаты долга Приказу общественного призрения» там же, где содержались по приговору суда, причем в случае особой болезненности арестантки или хронического у нее недуга лишение свободы грозило продлиться всю ее жизнь. Так, из донесений Гааза комитету видно, что в июле 1830 года в московском тюремном замке содержалась крестьянка Дарья Ильина за неплатеж 30 рублей, издержанных на ее лечение, а в сентябре в тот же замок посажена даже и не арестантка, судившаяся и отбывшая наказание, а бывшая крепостная помещика Цветкова, Матрена Ивановна. Она была поднята на улице в болезненном состоянии «от чрезмерного кровотечения» и отправлена в Екатерининскую больницу, пробыв в которой семь месяцев вернулась к помещику со счетом за лечение. Но он предпочел дать ей вольную. С этого времени она стала должницею Приказа общественного призрения и без дальних околичностей была посажена в тюрьму «впредь до удовлетворения претензии». Неизвестное благотворительное лицо выкупило ее чрез посредство Гааза.

На этого рода неисправных должников обратил Гааз особое внимание и уже в 1830 году стал хлопотать об организации «искупления должников». Он внес в комитет небольшой капитал, увеличившийся затем доставленными ему пожертвованиями (между прочим, от Скарятиной 200 рублей и от Сенявиной 100 рублей) и ежегодным отпуском особой суммы со стороны комитета для выкупа несостоятельных должников, содержащихся в московской долговой тюрьме *за недоимки*. По предложению его комитет постановил ежегодно в день кончины основателя Попечительного о тюрьмах общества Императора Александра I производить выкуп подобных должников. Гааз стал вместе с тем следить за точным и согласным с действительностью обозначением размеров недоимки, числившейся за ними, не жалея времени и труда на справки и личные проверки, сопряженные с разными неприятностями. Как видно из дел комитета, 1840 год особенно богат в жизни Гааза столкновениями и препирательствами в этом отношении с тюремным начальством и присяжными попечителями. Затем переписка по этим вопросам уменьшается и прекращается вовсе. По-видимому, противники неугомонного старика махнули на него рукой и стали уступать ему, не споря...

За стенами долговой тюрьмы оставалась *семья* должника. Она лишалась своего кормильца, а кормовых денег не получала. Мысль и о ней тревожила Гааза. В марте 1832 года по его почину и при деятельном участии одного из выдающихся директоров комитета, Львова, комитет постановил отделять часть из своих сумм *на помощь семействам* содержащихся в долговой тюрьме, предоставив заведование этим делом Львову и Гаазу. Последний, по словам А. К. Жизневского, часто посещал эту тюрьму и входил во все подробности жизни содержащихся, помогая действительно несчастным между ними — словом и делом, заступничеством и посредничеством.

**ГЛАВА ДЕСЯТАЯ**

Деятельность Гааза по отношению к *больному* ничем не отличалась от его деятельности по отношению к *преступному* и к *несчастному* человеку. И в области прямого призвания и служебных обязанностей отзывчивое сердце Федора Петровича, полное возвышенного беспокойства о людях, давало себя чувствовать на каждом шагу.

В заведовании Гааза, назначенного главным врачом московских тюремных больниц, находились мужская больница на 72 кровати при тюремном замке, устроенная на пожертвования по проекту его друга доктора Поля вместо прежних неудобных и недостаточных палат в одном из коридоров замка; затем отделение ее на Воробьевых горах для пересыльных и, наконец, помещение для больных арестантов при Старо-Екатерининской больнице. С 1838 по 1854 год в тюремных больницах числилось больных 31 142 человека; в лазарете пересыльной тюрьмы — 12 673. Когда в 1839 и 1840 годах в губернском замке с чрезвычайною силою развился тиф, последнее помещение было очень расширено и вмещало до 400 больных обоего пола. По прекращении эпидемии Гааз стал хлопотать, чтобы число кроватей не было сокращаемо. В полицейские части для кратковременного содержания или для «вытрезвления» поступали часто больные чесоткою и, как выражался народ, французскою болезнью. Отпущенные домой, они грозили сообщением своих прилипчивых недугов окружающим. Заботиться о лечении большинства из них было некому, а у самих больных не было ни средств, ни охоты. Гааз выпросил у князя Голицына распоряжение о присылке таких больных в пустовавший тюремный лазарет при Старо-Екатерининской больнице и о даровом их пользовании. Первоначально он и жил при этой больнице в маленькой квартире.

Зная правила Гааза, излишне говорить о заботливости его о больных и о внимании к их душевному состоянию, независимо от врачевания их телесных недугов. Обходя палаты, он требовал, чтобы его сопровождали ординаторы, фельдшеры и впервые им введенные сиделки мужских больничных палат. Он просил о том же и священников при церквах тюремного и пересыльного замков. Часто, садясь на край кровати больного, он вступал с ним в беседу о его семье, об оставленных дома, нередко целовал больных, приносил им крендели и лакомства. В первый день Пасхи он обходил всех больных и христосовался со всеми; то же делал он в губернском замке и на Воробьевых горах, где обыкновенно бывал у заутрени. В большие праздники и в день своих именин, как рассказывал о нем его крестник доктор Зедергольм, сын известного в Москве пастора, современника Гааза, Федор Петрович получал вместе с поздравлениями много сладких пирогов и тортов от знакомых. Собрав их все с видимым удовольствием, он резал их на куски и, сопровождаемый Зедергольмом или кем-нибудь другим, отправлялся к больным арестантам раздавать их. Много раз в присутствии своего крестника Гааз участливо расспрашивал арестантов о здоровье, называя их ласковыми именами: «голубчиком», «милым», и т. д., справляясь, хорошо ли они спали и видели ли приятные сны. Иногда, останавливаясь у постели какого-нибудь больного, он задумчиво глядел на него и говорил своему юному спутнику: «Поцелуй его!» — прибавляя со вздохом: «Er hat es nicht bös’gemeint!»[[19]](#footnote-19) или: «Der wollte nichts Böses machen!»[[20]](#footnote-20).

Но не в одном человечном отношении, даже не в стремлении делом и примером приложить к больным старинное правило искусства «tuto, cito et jucunde»[[21]](#footnote-21), как писал он в «Инструкции врачам», состояла его главная заслуга в чисто врачебной области деятельности. Он связал свое имя с учреждением, созданным его непрестанными и самоотверженными усилиями. Благодаря ему — и исключительно ему — выросла на Покровке, в Мало-Казенном переулке, в заброшенном и приходившем в ветхость доме упраздненного Ортопедического института *Полицейская больница для бесприютных*, которую благодарное простонародье Москвы прочно и без колебаний окрестило именем Газовской. «Приехав в 1852 году в Москву и имея поручение к Федору Петровичу, — пишет нам А. К. Жизневский, — я сказал первому попавшемуся извозчику: «Вези в Полицейскую больницу». «Значит, в Газовскую», — заметил тот, садясь на облучок. «А ты разве знаешь доктора Гааза?» — «Да как же Федора Петровича не знать: вся Москва его знает. Он помогает бедным и заведует тюрьмами». «Ступай!» — сказал я *и отправился в особый мир*...»

В 1844 году была учреждена в Москве больница для чернорабочих, захватившая и значительную часть арестантских помещений при Старо-Екатерининской больнице. На время производства необходимой поэтому пристройки к лазарету губернского замка более 150 больных арестантов было переведено в дом Ортопедического института, приспособленный и исправленный на личные средства Гааза и на добытые им у разных благотворителей. Постоянно разъезжая по Москве, встречаясь с бедностью, недугами и несчастиями лицом к лицу, он наталкивался иногда на обессиленных нуждою или болезнью, упавших от изнеможения где-нибудь на улице и рискующих под видом «мертвецки пьяных» быть отправленными на «съезжую» ближайшей полицейской части, где средства для распознавания и лечения болезней в то время совершенно отсутствовали, а средства «для вытрезвления» отличались простотою и решительностью. Он забирал таких несчастных в свою пролетку и вез в одну из немногочисленных больниц Москвы. Но там часто не было места, или больной почему-либо не подходил под специальное назначение той или другой больницы. Крайне тревожимый этими случаями, Гааз рядом письменных представлений и личных просьб добился от Голицына распоряжения о том, чтобы в случае непринятия больницею заболевших бесприютных полиция присылала их для помещения на свободные от арестантов места временной лечебницы в Мало-Казенном переулке. Здесь у Гааза место всегда находилось. При лечебнице этой была маленькая квартира из двух комнат, в которой он поселился сам, и Е. А. Драшусова, знавшая его лично, свидетельствует, говоря о нем, что, когда в лечебнице не было места, а поступали новые больные, он клал их в своей квартире и ухаживал за ними неустанно...

Наконец пристройка к тюремному лазарету была окончена и освящена. В нее перевели арестантов из Мало-Казенного переулка — и в лечебнице оказались лишь бесприютные, не предусмотренные ни в каком уставе и не подлежащие ведению тюремного комитета. В комитете начали подниматься голоса против этой лечебницы, и ей стало грозить уничтожение. Но Гааз решился всеми силами поддержать жизнь своего детища. Получая в качестве старшего врача больницы всего 285 рублей 72 копейки в год, он добывал средства от богатых купцов, чтобы ничего не требовать от казны на ремонт; сражался с комитетом; переписывался с оберполицеймейстером, под начальство которого перешла лечебница; умолял нового генерал-губернатора князя Щербатова сохранить учреждение, которому симпатизировал его предшественник, — и добился того, что Полицейская больница была признана постоянным учреждением для приема больных, поступающих на попечение полиции «по внезапным случаям, для пользования и начального подания бесплатной помощи». К таким больным были отнесены люди, поднимаемые на улице в бесчувственном виде, не имеющие узаконенных видов, ушибленные, укушенные, окровавленные, обожженные и т. д. В ней было положено 150 кроватей, и на каждого из больных и умерших стала отпускаться определенная, очень небольшая сумма. Но население Москвы росло, число бесприютных больных увеличивалось, слава Газовской больницы проникала в народ, отказывать в приеме Гааз был не в силах, и вскоре число больных, находивших себе кров и уход, тепло и помощь, стало превышать установленную норму чуть не вдвое. Началась тягостная переписка с комитетом и разным другим начальством, требование объяснений и отчетов во всякой мелочи, пошло производство начетов... Снова стали раздаваться обычные обвинения против Федора Петровича в нарушении порядка и в его переходящей здравые и законные границы филантропии, не желающей ничего знать, кроме своих излюбленных больных — босоногих бродяг и оборванцев. Гааз старался отмалчиваться или давал объяснения, признаваемые явно неудовлетворительными, но числа больных все-таки не сокращал. Между служившими при нем и вскоре после него в Полицейской больнице сохранился рассказ о том, что выведенный из себя жалобами на постоянные переборы, делаемые им против высшего предела расходов на полный комплект больных, князь Щербатов призвал его к себе и, горячо упрекая, требовал сокращения числа больных до нормы. Старик молчал, поникнув головою... Но когда последовало категорическое приказание *не сметь* принимать новых больных, пока число их не окажется менее ста пятидесяти, он вдруг тяжело опустился на колени и, ничего не говоря, заплакал горькими слезами. Князь Щербатов увидел, что его требование превышает силы старика, сам растрогался и бросился поднимать Федора Петровича. Больше о больнице не было и речи до самой смерти Гааза. По молчаливому соглашению все начиная с генерал-губернатора стали смотреть на ее «беспорядки» сквозь пальцы. Гааз *выплакал* себе право неограниченного приема больных...



*...он вдруг тяжело опустился на колени и, ничего не говоря, заплакал горькими слезами*

К числу этих больных по его настойчивым ходатайствам были впоследствии отнесены не только не нашедшие себе приюта в других больницах, но и подлежавшие по требованию господ телесному наказанию при полиции и заболевшие до экзекуции или после нее...

Как широка была помощь, оказываемая Газовскою больницею, видно из того, что с открытия ее до смерти Гааза в ней перебывало до 30 тысяч больных, из которых выздоровело около 21 тысячи. Больница заботилась не об одном излечении больных, но по начертанной Гаазом программе начальство больницы хлопотало о помещении престарелых в богадельни, об отправлении крестьян на родину, о снабжении платьем с умерших и деньгами неимущих больных-иногородних, об истребовании больным паспортов, о помещении детей, рожденных в больнице, на время или постоянно в воспитательный дом и о помещении осиротевших детей на воспитание к людям, «известным своею честностью и благотворительностью».

Когда Гааз был практикующим врачом в Москве, он не любил начинять больных лекарствами. Друг знаменитого в 40-х и 50-х годах в Москве терапевта Овера, он имел, однако, свои собственные взгляды на средства лечения. Он придавал значение покою и теплу; из внешних средств воздействия на организм наиболее действительным признавал ныне забытый фонтанель, а из внутренних — ныне снова весьма ценимый каломель. Зная его излюбленные средства, москвичи добродушно острили над ним, говоря: «Доктор Гааз уложит в *постель*, закутает во *фланель*, поставит *фонтанель* и пропишет *каломель*...» Те же средства, конечно, рекомендовались им главным образом и в «своих» больницах. Но не в них видел он силу. Участие и доброе, человечное отношение к больному, заставляющее его думать, что он не одинок на свете, не брошен на произвол судьбы, были в его глазах наиболее действительными средствами. Читая изречение «mens sana in corpore sano»[[22]](#footnote-22) наоборот, он охотно предоставлял врачам тюремных больниц и своим ординаторам заботу о прописывании и избрании лекарства, оставляя за собою решительный и всегда доброжелательный голос лишь по вопросу, подлежит ли арестант или бесприютный лечению.

Иногда, впрочем, он и сам специально заботился о лекарствах для некоторых больных, находившихся в исключительном положении. Гааз отличался не только пониманием душевных нужд несчастного, но и снисхождением к житейским потребностям и привычкам человека, внезапно исторгнутого из обычной обстановки преступлением, часто неожиданным для самого виновного. Один из старых судебных деятелей, вспоминая рассказы своих родных, коренных москвичей, о Федоре Петровиче, передает, что в конце 40-х годов в московский тюремный замок поступил некто Л., арестованный за покушение на убийство человека, соблазнившего его жену и побудившего ее бросить маленьких детей. К тоске и отчаянию, овладевшим им в тюрьме, присоединилась болезненная потребность курить. Отсутствие табака и крайняя затруднительность его незаконного получения действовали самым угнетающим образом на этого страстного курильщика. Посетивший его Федор Петрович нашел необходимым прописать ему для укрепления здоровья *декохт* из каких-то трав и снадобий. Последние приносились по его поручению и личному распоряжению арестанту большими пакетами «из аптеки»... и удовлетворенный курильщик перестал испытывать страдания физических лишений.

Бестрепетный в своем энергическом и искреннем слове, он был таким же и в своей врачебной практике. В 1848 году, когда свирепствовавшая в Москве холера наводила панику не только на население, но и на врачей и считалась заразительною даже от простого прикосновения, он старался словом и делом рассеять этот страх. «Проходя по одной из палат больницы, — пишет А. К. Жизневский, — и подойдя к больному, стонавшему в кровати, Федор Петрович с особенным ударением сказал мне: «А вот и первый холерный больной у нас», и тут же нагнулся к нему и поцеловал его, не обращая внимания на то, что меня очень смутила такая новинка, как холера». Чтобы доказать незаразительность холерных своим товарищам, старик, по рассказу И. А. Арсеньева, садился несколько раз в ванну, из которой только что вынут был холерный, и просиживал в ней некоторое время. Слухи об этом, при его популярности в простом народе, распространялись по Москве и производили успокоительное действие. Зная это, граф Закревский, вообще недолюбливавший Гааза, обратился к нему в разгар холеры с просьбою при постоянных разъездах по Москве останавливаться в местах стечения народа и успокаивать его. И в жаркие летние месяцы 1848 года на московских площадях и перекрестках можно было не раз видеть высокого и бодрого старика в оригинальном костюме, вставшего в пролетке и говорящего собравшемуся вокруг народу, который к *его*словам, к словам *своего* доктора, относился с полным доверием...



*...можно было не раз видеть высокого и бодрого старика в оригинальном костюме, вставшего в пролетке и говорящего собравшемуся вокруг народу...*

Порядки, заведенные Гаазом в Полицейской больнице, да и в тюремных госпиталях, были тоже своеобразны. Простой, обходительный и деликатный с подчиненными, он требовал от них прежде всего правды. Всякая ложь приводила его в негодование. В борьбе с нею он прибегал к необычным мерам. Так, в Полицейской больнице им была заведена кружка, в которую за всякую открывшуюся ложь виновный служащий, кто бы он ни был, должен был класть свое дневное по расчету жалованье. Это объявлялось Гаазом при принятии на службу в больницу и исполнялось строго и безусловно. Иногда это распространялось и на посторонних и даже применялось и в тюремной больнице. Так, в один из приездов Императора Николая Павловича в Москву в конце 40-х годов эту больницу в отсутствии Гааза посетил по приказанию свыше один из лейб-медиков Государя и донес, что нашел в ней двух арестантов, недуг которых представляется сомнительным. Узнав об этом, Гааз явился к нему и настойчиво потребовал нового посещения больницы, при чем на самых этих больных доказал чиновному и ученому посетителю, что выводы его о состоянии их здоровья были поспешны и ошибочны и что оба арестанта действительно нуждаются в лечении. Сконфуженный медицинский сановник стал извиняться, но Гааз добродушно и любезно просил его не беспокоиться и продолжал с ним обход. Однако когда они приблизились к выходу, Федор Петрович на минуту куда-то исчез, а затем вырос в дверях с кружкою в руках. «Ваше Превосходительство изволили доложить Государю Императору *неправду* — извольте теперь положить десять рублей штрафу в пользу бедных!»

Наравне с ложью старался он искоренять и нетрезвое поведение между госпитальною прислугою. Сначала ему хотелось предъявлять в этом отношении строгие требования всем вообще подчиненным тюремному комитету лицам. В 1835 году он предлагал комитету утвердить составленные им правила о безусловном воспрещении всем этим лицам употребления крепких напитков под угрозою штрафов в размере дневного жалованья в случае нарушения подписки о воздержании от вина, но комитет предложил ему в виде опыта самому ввести такое правило в тюремных больницах, а составленный им проект представил на рассмотрение губернатора. Затем, уже в 1838 году, комитет, имея у себя несколько жалоб на взыскание Гаазом штрафов и принимая во внимание, что проект его не получил в течение трех лет одобрения и что по газетным известиям министр внутренних дел не утвердил статута Общества умеренности в Риге, запретил впредь отобрание введенных Гаазом подписок. Но последний, по-видимому, продолжал настаивать на справедливости и осуществимости своего проекта, ибо уже в 1845 году на запрос князя Щербатова комитет доносил, что считает отобрание подписок, придуманных доктором Гаазом, «мерою не апробированною». Система штрафов — обыкновенно в маленьких размерах — практиковалась им в Полицейской больнице широко. Они накладывались также за неаккуратность, небрежность, грубость и опускались в кружку. Иногда, впрочем, собрав несколько таких штрафов при обходе больных, Гааз не опускал их в кружку, а тихонько клал под подушку какого-нибудь больного, которому предстояла скорая выписка и неразлучная с нею насущная нужда. Из кружки собранная сумма высыпалась раз в месяц и распределялась в присутствии ординаторов и надзирательниц между наиболее нуждавшимися выздоровевшими больными и семействами еще находившихся на излечении или приходивших в амбулаторию, где заседал Федор Петрович, окончив обход больницы... В 1852 году Жизневскому пришлось присутствовать при взыскании таких штрафов в Газовской больнице во время оригинального суда над сиделкою, заподозренною в краже. Разбирательство происходило в присутствии всех служащих в больнице. Гааз внимательно выслушивал оправдания, подробно расспрашивал свидетелей, попутно штрафовал некоторых из них — и, между прочим, самого себя — за отсутствие надлежащей заботы об ограждении служащих от похищения у них вещей и, пожелав узнать мнение постороннего человека, Жизневского, постановил оправдательное решение, разорвав заготовленное конторою отношение в полицию с препровождением заподозренной...

Нужно ли говорить об отношении к нему больных? А. К. Жизневский в письме о Гаазе приводит целый ряд отзывов о нем, исполненных восторженной благодарности со стороны самых разнородных по своему общественному положению людей. Врачуя их тело, Гааз умел врачевать и их упавший или озлобленный дух, возродив в них веру в возможность добра на земле. Описывая свое посещение Газовской больницы, Жизневский говорит, что видел там несчастную француженку-гувернантку, сошедшую с ума от горя вследствие павшего на нее без всякого основания подозрения в домашней краже. Она была постоянно неспокойна и часто впадала в бешенство, сопровождаемое ужасными проклятиями. Но стоило ей увидеть Федора Петровича, как она тотчас утихала, становилась кроткою и радостно шла на его зов. Старик гладил ей волосы, говорил ей с участием несколько ласковых слов — и на недавно еще мрачноисступленном лице злополучной жертвы клеветы начинала играть улыбка душевного спокойствия...

**ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ**

«Я, кажется, уже неоднократно высказывал Вам свою мысль, — писал Гааз своему воспитаннику Норшину, — что самый верный путь к счастию не в желании *быть счастливым*, а в том, чтобы *делать других* счастливыми. Для этого нужно внимать нуждам людей, заботиться о них, не бояться труда, помогая им советом и делом, словом, *любить их*, причем чем чаще проявлять эту любовь, тем сильнее она будет становиться, подобно тому как сила магнита сохраняется и увеличивается от того, что он непрерывно находится в действии...»

Эту мысль, наполнявшую всю его душевную жизнь, осуществлял и применял он, действуя в тюрьмах. Мы видели, с какими внешними препятствиями приходилось ему бороться. Но ими не исчерпывалась затруднительность его задачи. Были и внутренние помехи его деятельности. Они часто связывали свободу его действий, огорчали, раздражали и даже оскорбляли его. Ему приходилось иметь дело с коллегиею, которой он сам был членом, и испытывать на себе всю тяжесть того искусственного сопряжения воедино различных, иногда прямо противоположных темпераментов, побуждений и взглядов, которое характеризует каждую коллегию. Несомненно, что коллегия, особливо судебная или законодательная, имеет свои достоинства. Ее собирательный опыт оказывает бесспорные услуги, ее безличное спокойствие исключает элемент индивидуальной страстности или опасной поспешности. Но там, где коллегии приходится иметь дело с повседневными явлениями жизни, с животрепещущими запросами и потребностями насущной действительности, где требуется разумная смелость, скорая осуществимость, непосредственное проникновение в сущность вопроса, — там коллегия, ничего не улучшая, многое может портить и мертвить. Разделение труда делает его менее энергичным, общая ответственность ослабляет ответственность каждого, отсутствие прямого соприкосновения с тем или другим явлением вытравляет его яркие краски и искажает его живые контуры... Чувство личного негодования, а следовательно, и любви замирает в коллегии, ощущение стыда теряет свою благотворную едкость; трусливые, нерешительные, скудные умом оказывают принижающее действие на сильных умом, заставляя их терять время на объяснение азбучных истин, торговаться и уступать во имя хотя бы и неполного достижения цели; ленивое мышление одних не хочет видеть того, что выстрадано сердцем других; *Молчалин* часто стремится сжать в своих объятиях *Чацкого* — и по отношению к вопросу, о котором вопиет жизнь, образуется обыкновенно компромисс, всегда негодный по исходу, иногда мутный по своему источнику. Вот почему живые и энергичные натуры, особливо стремящиеся быть тем магнитом, о котором писал Гааз Норшину, обыкновенно страдают в составе коллегии и приходят с нею в бесплодные по большей части столкновения.

Московский тюремный комитет сделал много полезного для тюремного дела в Москве, но, по-видимому, за исключением Львова, Поля, Сенявина, Капниста и еще двух-трех членов, заседавших притом не одновременно, он обладал обычными свойствами административно-благотворительной коллегии. Из переписок Гааза с комитетом видно, что в среде последнего были и «охладелые», и «отклонявшие себя от долга», были и прямо враждебно или насмешливо относившиеся к нему. Встречались, конечно, как неизбежная внутренняя язва общественной благотворительности, и «акробаты благотворительности». Вице-президенты — генерал-губернаторы князь Голицын и князь Щербатов — были людьми больших достоинств, но у каждого из них была обширная область прямой деятельности, отвлекавшей их от тюремного дела. Первые годы существования комитета, наилучшие в его жизни, руль держал в руках сам князь Д. В. Голицын, поощряя и поучая всех своим примером, своим искренним желанием улучшений, личным трудом и светлым, свободным от шор бесплодного формализма взглядом. Он понимал Гааза, прислушивался к нему и за обличьем шумливого и беспокойного члена коллегии умел рассмотреть «роптанье вечное души», чистой и самоотверженной. Иногда, впрочем, настойчивость и страстность Гааза нарушали спокойное и уравновешенное отношение к нему князя Голицына. Однажды в 1840 году после шумных протестов Гааза против какого-то из постановлений комитета князь сказал ему с раздражением: «Mr Haas! si vous continuez, je vous ferais sortir d’ici par les gendarmes!»[[23]](#footnote-23) — на что последний ответил улыбаясь: «Et vous n’y gagnerez rien, mon prince, car je rentrerai par la fenêtre...»[[24]](#footnote-24). Вероятно, подражая князю, уже в конце 40-х годов один из членов комитета позволил себе, как вспоминают священники Орлов и Белянинов, сказать «беспокойному» старику, что «он дождется того, что его не станут приглашать в комитет». «Я сам приеду», — спокойно заметил Гааз. «Пред вами запрут двери!» — «Ну что ж — я влезу в окно...» Мимолетные столкновения с князем Голицыным проходили, однако, бесследно. Просвещенный государственный деятель, сказавший в 1834 году советнику губернского правления известному А. И. Кошелеву, который в качестве московского дворянина горячо настаивал на истребовании от генерал-губернатора для проверки отчета по дорожной комиссии: «Сегодня утром в дворянском собрании я вами любовался: вы хорошо поступили, и я на вашем месте сделал бы то же самое», — не мог сердиться на своего чистого душою, хотя и строптивого сотрудника...

Но не так относились к Гаазу многие из его сотоварищей. Его «выходки» нарушали спокойную бесцветность их занятий, его «самовольные распоряжения» оскорбляли целомудрие канцелярских предначертаний. И по мере того, как князь Голицын, дав первые толчки и общее направление новому делу, отдалялся от него, погруженный в сложную работу хозяина Москвы, против Гааза образовывалась оппозиция, то тесно сплоченная, то неуловимая, но все-таки чувствуемая.

Утрированному филантропу, который говорил о *виденных им* и сердечно разделенных нуждах людей, коих он прежде всего считал несчастными, который писал в 1845 году, что члены тюремного общества «обязаны осуществлять намерение жить *по-Божески*, то есть чтобы правосудие сочеталось с милосердием и Бог был бы виден во всех наших действиях», отвечали ссылками на буквальный смысл статей закона и параграфы уставов. Его своеобразно-красноречивые предложения «приобщались к делу», как не заслуживающие внимания, его просьбы и требования встречались оскорбительным молчанием. Особенно недовольно было им хозяйственное отделение комитета, стоявшее в отношениях своих к конторе тюремных больниц, где распоряжался Гааз, на чисто формальной почве. Оно не желало, например, сообщать конторе копий с контрактов на поставку съестных припасов для проверки поставщиков, что было, как писал Гааз комитету в 1840 году, «причиною неимоверного беспорядка, от которого сии больницы страждут». Между тем одно из заседаний хозяйственного отделения было открыто словами председателя: «Так как господин Гааз многими поступками отступил от правил при управлении тюремных больниц...» «Я взял смелость остановить Его Превосходительство, — пишет Гааз, — и спросить, какие поступки должен я здесь разуметь, но он вместо ответа опять повторил те же слова, а на мой вторичный вопрос в третий раз изволил произнести те же самые наречия. Я тогда принужден был встать с места и сказать: «Если вы полагаете себя вправе таким образом насчет меня выразиться без всякого объяснения, то я не могу оставаться в сем собрании», — на что Его Превосходительство адресовался к секретарю комитета со словами: «Не правда ли, ведь были некоторые случаи, в которых господин Гааз действовал неправильно по управлению больницами?» — на что сей отвечал: «*По другим предметам* были некоторые такие действия господина Гааза, *то и вероятно*, что такие же были и по управлению больницами...» И сей ответ был принят без всякого примечания!»

Когда неусыпными трудами Гааза был устроен северный коридор тюремного замка, оказалось, что он сделал на 40 рублей сверхсметных расходов против ассигнованных ему 400 рублей, вместо просимых им 500 рублей. Об этой передержке была возбуждена обширная переписка на 143-х листах, продолжавшаяся два года. От Гааза было потребовано объяснение, и комитет посвятил не одно заседание обсуждению его неправильного и незаконного поступка. Указывая, что комитет гораздо милостивее относился к сверхсметных расходам, допущенным другими членами, признавая, что деньги были израсходованы «на предмет, достойный комитета», Гааз пишет в объяснении: «Мне поручено затруднительное дело, мне отказывают в нужных средствах и в то же время неумолимы в обсуждении моих действий и упущений. Меня спрашивают, могу ли *оправдать свой поступок*? Ответствую: я признаю, что располагать таким образом суммами, кои не выданы, есть *род похищения*. С сею же самою откровенностью признаюсь, что я одушевлен был мыслью о северном коридоре и мне казалось, что действия мои заслуживают признательности комитета. Оказывается, что я ошибся и в том, что делал, и в том, что мыслил...» Кончилось тем, что он заплатил эти 40 рублей из своих скудных средств. То же самое повторилось и в 1840 году, когда Гааз произвел несколько необходимых и не терпящих отлагательства работ по расширению помещений Старо-Екатерининской больницы для приема погибавших от тифозной эпидемии арестантов и просил комитет уплатить рабочим 290 рублей ассигнациями. При обсуждении переписки, продолжавшейся два года, комитет в 1842 году, после разных упреков по адресу Гааза, постановил: «Отныне на будущее время всякое распоряжение в постройках и починках по больничным зданиям г-на Гааза воспретить», причем оскорбленный старик, видя, что его объяснений не слушают и смеются над его словами, «встал, поднял руку к небу, — как он сам пишет, — и голосом, которым кричат *караул*, кричал: «Объявляю пред небом и землею, что мною в сем деле ничего противозаконного не сделано!»



*...при всех чиновниках и служителях просил у г-на директора прощения...*

Но не одни расходы, производимые им, раздражали комитет. Архитектор, помогавший Гаазу в перестройке северного коридора, указал ему на возможность из двух небольших и полутемных комнат около церкви образовать одну большую и светлую, сделав в толстых стенах между ними большие арки. Мысль дать больше простора заключенным и собирать их для общей молитвы возле церкви пленила Гааза, и он немедленно на свой счет, спеша устроить окончательно *свой* коридор, привел ее в исполнение. Директор комиссии строений в Москве, посетив замок, указал Гаазу на это «самоволие», объяснив, что он должен был испросить его разрешение на непредусмотренную перестройку. Чуждый мелочного самолюбия, имевший в виду только пользу дела, Гааз «вменяя себе в обязанность исправить дурной пример нарушения законного порядка, им поданный, при всех чиновниках и служителях просил у г-на директора прощения». Но директору было мало унижения старика. Он сообщил о новом его поступке комитету. Представляя комитету свою повинную, Гааз заявлял, что вынужден был вообще отступать от предначертаний комиссии строений относительно перестроек в тюрьме, ибо если бы вполне оные соблюдать, то получилась бы квасная, в которой нельзя делать квасу, ибо у ней вовсе не было положено русской печи; комнаты остались бы без вентиляторов, наружные двери без ступенек для входа, чердаки без лестниц и комната против «малолетних» вовсе без двери, ибо печник, склавши уже более половины печи, положенной на том месте, где была дотоле дверь, перелез чрез оную и спрашивал: где же ему выйти, когда он доведет печь доверху?.. Комитет не признал возможным стать на почву совершившегося факта, и князь Голицын предложил ему согласно его же заключению сделать Гаазу выговор в «присутствии оного, подтвердив, чтобы на будущее время он нимало не отступал от установленного порядка». Тяжело отозвался на старике выговор, объявленный по распоряжению человека, которого он глубоко чтил и которому однажды писал: «Вы великий вельможа — князь, но и Вы не в состоянии сделать две вещи: чтобы в журнале комитета было записано: «Вице-президент князь Дмитрий Владимирович недоволен действиями доктора Гааза», и чтобы я не любил Вас всем своим сердцем!» Он не перенес огорчения и захворал. И вот причина, почему он, не пропускавший за всю свою многотрудную жизнь ни одного заседания комитета, все-таки не был в одном из них...

Столкновения с комитетом бывали у него по самым различным поводам. То, убоясь переписки и возможности отказа, представляет он в комитет счет цехового Завьялова на 45 рублей за 21 бандаж, отданный освобожденным из смирительного и рабочего домов арестантам, страдающим грыжею, — и комитет разъясняет ему, что не считает себя обязанным покрывать такой расход, предоставляя ему самому изыскать средства к удовлетворению оного из других источников, то есть обрекает его за неимением им собственных средств на необходимость просить кого-нибудь быть благодетелем. То, удрученный своим устранением от освидетельствования пересыльных арестантов и боясь, что они останутся вовсе без призора, он просит обязать членов комитета бывать по очереди на Воробьевых горах четыре раза в неделю — и комитет «не усматривает для его домогательства законных оснований». То просит он комитет ходатайствовать у высшего начальства, чтобы, кроме пересылаемых слепых, глухих и немых бродяг, в губернских городах оставлять, не отсылая в Сибирь, и тех, «кои окажутся с повреждением ума», — и комитет, к огорчению его, «не полагает на сие никакого решения». То в 1845 году, подкрепляя свою просьбу словами Екклезиаста, он просит комитет внушить членам своим об обязанности частого посещения мест заключения вообще, чрез что «злоупотребления, населяющие их, как насекомые и паутина, будут исчезать сами собою, а добрые дела мало-помалу рождаться одно от другого», — и получает в ответ, что комитет с признательностью принимает указание своего вице-президента митрополита Филарета, между прочим, и о том, что «можно не входить в большое разбирательство рассуждения Федора Петровича о постоянном посещении тюрем — довольно сказать, что это посещение, без сомнения весьма желательное, может по справедливости быть требуемо, конечно, не от тех людей, у которых с утра до вечера полны руки должностных дел и которым долг присяги не позволяет от сих необходимых дел постоянно уклоняться к делам произволения, хотя и весьма доброго...». То, наконец, в просьбе Гааза в 1840 году о разрешении оставить в пересыльной тюрьме крестьянина Лазарева, ссылаемого помещиком в Сибирь, несмотря на шестидесятитрехлетний возраст (что было дозволено законом и сенатским разъяснением лишь до 1827 года), и о начатии переписки о незаконности такой ссылки — комитет постановляет отказать, ибо Лазарев *сам* может подать об этом просьбу *по приходе в Тобольск*. Такие отказы раздражают старика. Своеобразным красноречием звучат вызываемые ими записки его и заявления. По поводу Лазарева он объясняет, что «будет изыскивать способ сам довести о сем несчастном до сведения Высочайшей власти». Видя холодное отношение комитета к нескольким просьбам его за арестантов, он восклицает в 1838 году: «Если мы и впредь будем так действовать, то должны ожидать, что нам будут сказаны слова Евангелия взывавшим к Спасителю: «Не во имя ли Твое мы проповедывали?» и коим было изречено: «Поистине не знаю вас! отыдите от Меня вси, творящие неправду!»

Тон обличения и довольно злой иронии часто слышится в посланиях его комитету. «Говорят, — пишет он в 1832 году, — что арестанты уже в течение долгого времени следуют сему непорядку и, так сказать, к оному приучены. Но сие напоминает мне анекдот о некоторой кухарке, которая содрала кожу с живого угря. Один вошедший в то время на кухню сказал: «Как, сударыня, вы без сожаления это делаете?» «Ничего, сударь, — отвечала кухарка, — *они* к этому привыкли!» — наместо того, чтобы сказать: «*Я* к этому привыкла!» «Не скрою пред комитетом, — говорил он, представляя свои оправдания по поводу арки в северном коридоре, — величайшего отвращения, какое имею я, входя в столь подробное изъяснение по обстоятельству столь ничтожному», и по поводу постоянных неудовольствий и нареканий комитета напоминает, что Тацит, говоря о Тите Агриколе, сказал: «В натуре человека ненавидеть того, кому однажды нанесено оскорбление...» Говоря о раздаче книг Священного Писания пересыльным, он ядовито замечает: «Встреча Священного Писания в тюрьме ссыльных могла бы соделаться опасною для членов комитета тем осуждением, которое сия святая книга произносит на слабое усердие, которое комитет оказывает в попечении о благосостоянии ссыльных».

Так действовал до конца своей многотрудной жизни Федор Петрович Гааз. Одинокий и в общественной, и в личной жизни, забывавший все более и более о себе, с чистою совестью взиравший на приближающуюся смерть, он тем более отдавался своему призванию, чем меньше оставалось ему жить, стараясь осуществить то «kurzen Wachen — rasches Thun»[[25]](#footnote-25), о котором говорится во второй части «Фауста»... Но жилось ему нелегко. Лично видевшая его старая москвичка графиня Сальяс (Евгения Тур) пишет о нем: «Борьба, кажется, приходилась ему не по силам; посреди возмущающих душу злоупотреблений всякого рода, посреди равнодушия общества и враждебных распоряжений, в борьбе с неправдой и ложью силы его истощались. Что он должен был вынести, что испытать, пережить, перестрадать!»

Про него можно сказать словами Некрасова, что он провел свою богатую трудом и добровольными лишениями жизнь «упорствуя, волнуясь и спеша». И у него была — и осталась такою до конца — «наивная и страстная душа». Немногие друзья и многочисленные, по необходимости, знакомые часто видели его грустным, особенно когда он говорил о тех, кому так горячо умел сострадать, или гневным, когда он добивался осуществления своих прав на любовь к людям. Но никто не видел его скучающим или предающимся унынию и тоске. Сознание необходимости и нравственной обязанности того, что он постоянно делал, и непоколебимая вера в духовную сторону человеческой природы в связи с чистотою собственных помыслов и побуждений спасали его от отравы уныния и от отвращения к самому себе, столь часто скрытого на дне тоски... Бестрепетно и безоглядно добиваясь всего, что только было возможно при существующих условиях, и очень часто разменивая свои общие усилия на случаи помощи в отдельных, по видимому ничем между собою не связанных случаях, он систематически и упорно, собственным примером служил будущему, в котором задачу тюремного дела, как одного из видов наказания, должно будет свести к возможно большей *общественной самозащите* при возможно меньшем причинении *бесплодного личного страдания*. И в этом его заслуга — и уже в одном этом его право на благодарное воспоминание потомства...

**ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ**

Остается бросить беглый взгляд на последние годы Гааза. Чистая, одинокая и целомудренная жизнь его, постоянная подвижная деятельность, большая умеренность в пище и питье долго сохраняли ему цветущее здоровье. Несмотря на седьмой десяток, он оставался бодр и вынослив и, хотя совсем не заботился о здоровье, никогда не бывал серьезно болен. Разнообразные личные воспоминания о нем дают возможность представить себе его день и составить более или менее полную картину его привычек, обычаев и образа жизни в последний ее период — период, когда почти все примирились со «странностями» и «чудачествами» Федора Петровича, а многие поняли наконец, какой свет и теплоту заключают в себе эти его свойства.

Он вставал всегда в шесть часов утра и, немедленно одевшись в свой традиционный костюм, садился пить вместо чаю, который он считал для себя слишком роскошным напитком, настой смородинного листа. Если не нужно было ехать на Воробьевы горы, он до восьми часов читал и часто сам изготовлял лекарства для бедных. В восемь начинался прием больных. Их сходилось масса. Нечего и говорить, что советы были безвозмездны. О научном достоинстве этих советов судить трудно. Надо думать, что увлеченный своею филантропическою деятельностью Федор Петрович остался при знаниях цветущего времени своей жизни, между тем как наука ушла вперед. В последние годы жизни он очень склонялся к гомеопатии. Едва ли и три излюбленных средства с окончанием на «ель» играли в его советах прежнюю первенствующую роль. Он продолжал не возлагать особых надежд на лекарства, а более верил целительному значению условий жизни больного. Так, когда к нему в 1850 году обратился за советом А. К. Жизневский, он вместо рецепта написал на лоскутке бумаги: «Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant haec tria: mens hilaris, requies, moderata dieta (schola saleritana)», то есть «если тебе нужны врачи — да будут тебе таковыми три средства: веселое расположение духа, отдых и умеренная диета». Но несомненна любовь бедных больных к «их» доктору, связанная с безусловным к нему доверием. Простые, недостаточные люди видели в нем не только врача телесного, но и духовного, к нему несли они и рассказ о недугах, и горькую повесть о скорбных и тяжких сторонах жизни, от него получали они иногда лекарство или наставление, всегда — добрый совет или нравоучение и очень часто — помощь... Нередко несчастливец, не столько больной, сколько загнанный жизнью, выходил после беседы с ним ободренный, с влажными глазами, зажимая в руке данное лекарство... отпускаемое из экспедиции заготовления государственных бумаг. «Мне радостно было узнать, — пишет Гааз 5 июля 1847 года Норшину, — что Вам пришлось оказать гостеприимство нескольким беднякам. Конечно, это всего угоднее Богу, но если бы у Вас не было у самого ни крова, ни пищи, ни денег, чтобы разделить с несчастным, не забывайте, что добрый совет, сочувствие и сострадание есть тоже помощь, и иногда очень действительная...»

В двенадцатом часу Гааз уходил в Полицейскую больницу, а оттуда уезжал в тюремный замок и в пересыльную тюрьму. Его старинные дрожки, облезлые и дребезжащие, престарелый и немилосердно обиравший хозяина кучер Егор в неладно скроенном выцветшем кафтане и две обыкновенно разбитые на ноги, разношерстные лошади были известны всем москвичам. Седок и экипаж, упряжь и кучер были для них чем-то родным, тесно связанным с тогдашнею внутреннею жизнью Москвы. От всего, что служило к передвижению неутомимого старика, и от него самого веяло таким далеким прошлым, что москвичи утверждали шутя, будто доктору, кучеру и лошадям вместе четыреста лет. Сколько ни старались с разных сторон «открыть глаза» Федору Петровичу на проделки Егора, он ничего не хотел видеть и слышать и держал Егора у себя двадцать лет, до самой своей смерти. Не хотел он ни за что расстаться и со старою, безобразною пролеткою. Он к ней привык, и притом под ее широким кожаным фартуком было так поместительно для установки корзин с съедобным для идущих по этапу! Н. Ф. Крузе, знавший Гааза лично, рассказывал нам со слов московских старожилов, что, когда какая-нибудь из дряхлых кляч, на которых ездил Федор Петрович, оказывалась вполне негодною для своей службы и оставлялась спокойно доживать свой век, он отправлялся на конную площадь, где непременно покупал одну из лошадей, выведенную на убой татарам, — и спасенное от ножа животное продолжало жить, неторопливо перебирая разбитыми ногами у истертого дышла популярной пролетки... Концы по Москве приходилось делать большие, и проголодавшийся Гааз, по словам Жизневского, иногда останавливался у какой-нибудь пекарни и покупал четыре калача — один для себя, один для кучера и два для лошадей. В 1850 году почитатели Федора Петровича, желая облегчить ему разъезды по Москве, послали ему в подарок, при письме без подписи, карету и пару лошадей, но Гааз немедленно отправил присланное к известному в то время каретнику Мякишеву, прося купить все это, оценив «по совести», и полученные затем деньги немедленно роздал бедным. Обедал Гааз в пять часов, очень редко вне дома, причем был очень умерен в пище и ничего не пил, но если в гостях подавали фрукты, то брал двойную порцию и клал в карман, говоря с доброю улыбкою: «Для больных!» Тотчас после обеда он отправлялся по знакомым и влиятельным людям хлопотать и просить за бедных и беззащитных. В памяти некоторых из этих знакомых его образ запечатлелся ярко.

Высокий, широкоплечий, немного сутуловатый, с крупными чертами широкого сангвинического лица, Гааз с первого взгляда производил более своеобразное, чем привлекательное впечатление. Но оно вскоре изменялось, потому что лицо его оживлялось мягкою, ласковою улыбкою и из нежно-пытливых голубых глаз светилась сознательная и деятельная доброта. Всегда ровный в обращении, редко смеющийся, часто углубленный в себя, Федор Петрович избегал большого общества и бывал, случайно в него попавши, молчалив. Но в обыкновенной беседе, вдвоем или в небольшом кружке, он любил говорить... Усевшись глубоко в кресло, положив привычным образом руки на колени, немного склонив голову и устремив прямо пред собою задумчивый и печальный взор, он подолгу рассказывал... но никогда *о себе*, а всегда *о них*, о тех, по ком болело его сердце. Он очень не любил расспросов лично о себе, сердился, когда при нем упоминали о его деятельности, а в суждениях о людях был, по единогласному отзыву всех знавших его, чист как дитя. Раздавая все, что имел, никогда не просил он материальной помощи своим «несчастным», но радовался, когда ее оказывали. Зная это, его московские друзья и знакомые, по словам Надежды Михайловны Еропкиной, не давали ему своих пожертвований прямо в руки, а клали их в задний карман его неизменного фрака. Старик добродушно улыбался и делал вид, что этого не замечает. В последние годы, однако, он стал рассеян и забывчив, так что подчас деньги, положенные в его фрак, не доходили до цели, попадая в ловкие и своекорыстные руки. Тогда по молчаливому общему соглашению ему стали класть свертки звонкой монеты (в то время золото было в обычном обращении, так же как и серебряные рубли), которые, оттягивая его карман и ударяя по ногам, напоминали ему о себе.

Одевался он чисто, но бедно; фрак был истертый, с неизбежным Владимиром в петлице; старые черные чулки, много раз заштопанные, пестрели дырочками. Гаазу было тягостно всякое внимание лично к нему. Поэтому он, несмотря на настойчивые просьбы друзей и знакомых, несмотря на письменную просьбу лондонского библейского общества, ни за что не дозволял снять с себя портрета. Сохранившийся чрезвычайно редкий портрет его в профиль нарисован тайно от него художником, которого спрятал за ширмы князь Щербатов, усадивший пред собою на долгую беседу ничего не подозревавшего Федора Петровича. Одинокий, весь погруженный в мысли о других, он лично, по выражению поэта, «не был любящей рукой ни охранен, ни обеспечен». Однажды придя к Н. М. Еропкиной, приняв в кресле свою любимую позу и начав говорить о виданном им при отправлении последней этапной партии, он вынул из кармана какую-то ветхую тряпицу, служившую ему платком. Увидев это, слушательница, обойдя за спиною повествовавшего старика, достала из комода хороший батистовый платок и, молча взяв из руки Гааза тряпицу, вложила взамен ее этот платок. Федор Петрович улыбнулся, ласково взглянул на нее и стал продолжать свой рассказ. «Однако одного платка ему мало, он его потеряет, забудет...» — подумала Еропкина и, достав из комода еще одиннадцать платков, тихонько положила их в карман свесившейся с кресла фалды его фрака. Но Федор Петрович почувствовал это, обернулся, достал все платки — и вдруг глаза его наполнились слезами, он схватил Еропкину за руки и голосом, которого она не могла позабыть, сказал: «Oh! merci, merci! *ils* sont si malheureux!»[[26]](#footnote-26). Он не мог допустить, чтобы это могла быть забота о нем, а не о *них*, ради которых так светло и чисто догорала его жизнь!

Он очень любил детей. И дети ему платили тем же, шли к нему с доверием, лезли на него, ласкали его и теребили. Между ними завязывались разговоры, прерываемые шутками старика и звонким детским смехом. Он сажал их на колени, смотрел в их чистые, правдивые глаза и часто с умиленным выражением лица возлагал им на голову руки, как бы благословляя их! По словам супруги нашего великого писателя графини С. А. Толстой, он любил проделывать с детьми шутливое перечисление «необходимых добродетелей». Взяв маленькую детскую ручонку, растопырив ее пальчики, он вместе с ребенком, загибая большой палец, говорил: «Благочестие», загибая указательный: «Благонравие», «Вежливость» и т. д., пока не доходил до мизинца. «Не лгать!» — восклицал он многозначительно. «Не лгать, не лгать, не лгать!» — повторял он, потрясая за мизинец руку смеющегося дитяти...

Строгий блюститель нравов в себе и в других, Гааз не всегда действовал одними советами, назиданиями и убеждениями. В некоторых случаях он пробовал оказывать своеобразное «противление злу» активными и даже *разрушительными* действиями. Знавшим его ближе москвичам было известно, что он очень любит хорошие картины и умеет их ценить. Когда в доме одного богатого купца он восхитился прекрасной копией с Мадонны Ван Дейка и выразил желание, чтобы она была помещена в католической церкви в Москве, картина была препровождена на другой день к нему, но с условием, чтобы до его смерти она у него и оставалась. Единственное украшение бедной обители Гааза, по его кончине она была передана в церковь, как того всегда желал ее временный обладатель. У него же хранилось подаренное кем-то художественно исполненное изображение «Снятия со Креста», тисненное на коже. Им благословил он, умирая, ординатора Газовской больницы Собакинского, который впоследствии пожертвовал этот образ в церковь подмосковного села Куркина, где он находится и до сих пор с соответствующею надписью.

По рассказу московского старожила, служившего еще у Ровинского, когда тот был губернским прокурором, г-на Н-ва, в начале 50-х годов у одного из московских купцов, старого холостяка, явилось непреоборимое желание похвастаться пред «святым доктором» висевшею в спальне, задернутою зеленой тафтой картиною, на которой откровенность изображения доходила до крайних пределов грязной реальности. После долгих колебаний он наконец решился, заранее готовясь услышать негодующие упреки Гааза. Но тот молчал, а затем стал просить продать ему картину. Владелец ни за что не соглашался, указывая на всю трудность получения такой «редкостной вещи», но, видя, что старик, которого он глубоко чтил, страстно желает, к немалому его удивлению, иметь неприличную картину, предложил ему скрепя сердце принять ее в подарок. Федор Петрович наотрез отказался, продолжая просить *продать* картину. Тогда купец заломил очень большую цену. Гааз задумался, потом сказал: «Картина за мной» — и уехал. Чрез два или три месяца он привез требуемую сумму, доставшуюся ему, конечно, путем труда и больших лишений, и, довольный, увез в своей пролетке тщательно закрытую тафтою картину. Этот увоз оставил пустое и больное место в обыденном существовании нечистоплотного холостяка; он затосковал и чрез несколько дней решился под каким-то предлогом заехать к Гаазу, чтобы хоть взглянуть на *нее*. Старик принял его приветливо, и началась беседа. Гость пытливо обводил глазами стены единственной приемной комнаты (другая, маленькая, была спальнею). Картины не было. Наконец он решился спросить хозяина о судьбе утраченного сокровища. «Картина здесь, в этой комнате», — сказал хозяин. «Да где же, Федор Петрович, не видать что-то?!» «*В печке*...» — спокойно ответил Гааз.

Так дожил он до 1853 года — весь проникнутый деятельною любовью к людям, осуществлять которую в тогдашнее время, при развившейся до крайности формалистике и суровой подозрительности, было нелегко. Общество наконец поняло этого «чудака» и стало сознавать всю цену его личности и деятельности. «Когда я в начале 50-х годов, — писал нам автор «Года на Севере» и «Крылатых слов»[[27]](#footnote-27), — студентствовал в университете, нам, медикам, имя Гааза было не только известно, но мы искали случая взглянуть на эту знаменитую личность, и я хорошо помню его наружность, а также главным образом и то, что он уже и тогда был причислен к лику святых и таковым разумелся во всех слоях московского населения».

Не так, однако, смотрел стоявший над этими слоями граф Закревский, которому весьма не нравилась тревожная и хлопотливая деятельность утрированного филантропа, постоянно нарушавшая приятное сознание, что в Москве «все обстоит благополучно». Бог знает, в какой форме осуществился бы практически взгляд графа Закревского на Гааза, но судьбе угодно было избавить графа от докучных хлопот о нем. Общая освободительница, смерть, освободила его от утрированного филантропа. Она подошла неожиданно. В начале августа 1853 года Федор Петрович заболел. У него сделался громадный карбункул, и вскоре надежда на излечение была потеряна. «Я застал его, — пишет А. К. Жизневский, — не среди больных, труждающихся и обремененных; он сам был болен и сидел в своей комнате, за ширмами, в вольтеровских креслах; на нем был халат, и его прекрасную голову не покрывал уже исторический парик. Его лицо, как и всегда, сияло каким-то святым спокойствием и добротою; благоговение к этому человеку охватило меня, и я хотел поцеловать его руку, но удержался, боясь его расстроить...» Он не мог лежать, сидел постоянно в кресле и очень страдал. «Несмотря на болезнь, благообразное старческое лицо его выражало, по обыкновению, доброту и приветливость, — говорит его современница Е. А. Драшусова, — он не только не жаловался на страдания, но вообще ни слова не говорил ни о себе, ни о своей болезни, а беспрестанно занимался своими бедными, больными, заключенными — делал распоряжения, как человек, который готовится в далекий путь, чтобы остающимся после него было как можно лучше. Он до конца остался верен себе, забывая себя для других. Он знал, что скоро умрет, и был невозмутимо спокоен; ни одна жалоба, ни одно стенание не вырывались из груди его; только раз сказал он своему другу доктору Полю: «Я не думал, чтобы человек мог вынести столько страданий...» Но страдания эти были непродолжительны — и конец был тих...» Когда Федор Петрович почувствовал приближение смерти, он велел перенести себя в большую комнату своей скромной квартиры, открыть входные двери и допускать к себе всех, знакомых и незнакомых, кто желал его видеть, проститься с ним и *от него* услышать слово утешения...

Весть о безнадежном состоянии Федора Петровича подействовала удручающим образом на служащих при пересыльной тюрьме. Они обратились к своему священнику о. Орлову с просьбою отслужить в их присутствии литургию о выздоровлении больного. Не решаясь это исполнить ввиду того, что Гааз не был православным, о. Орлов отправился заявить о своем затруднении митрополиту Филарету и вспоминает ныне, что Филарет молчал с минуту, потом поднял руку для благословения и восторженно сказал: «Бог благословил молиться о всех живых — и я тебя благословляю! Когда надеешься ты быть у Федора Петровича с просфорой?» — и, получив ответ, что в два часа, прибавил: «Отправляйся с Богом, мы с тобой увидимся у Федора Петровича...» И когда о. Орлов, отслужив обедню и помолясь о Гаазе, «о котором не может вспомнить без благодарных слез», подъезжал к его квартире, карета московского владыки стояла уже у крыльца его старого сотрудника и горячего с ним спорщика...

16 августа Гааза не стало. Его не тотчас вынесли в католическую церковь, а оставили в квартире, чтобы дать массе желающих возможность поклониться его праху в той обстановке, в которой большинство приходивших получало его советы. Тление пощадило его до самых похорон — привычная добрая улыбка застыла на губах. На похороны стеклось до двадцати тысяч человек, и гроб несли на руках до кладбища на Введенских горах. Рассказывают, что, почему-то опасаясь «беспорядков», Закревский прислал специально на похороны полицеймейстера Цинского с казаками, но когда Цинский увидел искренние и горячие слезы собравшегося народа, то он понял, что трогательная простота этой церемонии и возвышающее душу горе толпы служат лучшею гарантиею спокойствия. Он отпустил казаков и, вмешавшись в толпу, пошел пешком на Введенские горы.

На этих Введенских горах, в V разряде католического кладбища, было предано земле тело Федора Петровича. На могиле его оставшийся неизвестным друг поставил памятник в виде гранитной глыбы с отшлифованным гранитным же крестом, с надписью на ней «Fredericus Josephus Haas, natus Augusti MDCCLXXX, denatus XVI Aug. MDCCCLIII»[[28]](#footnote-28) — и с написанным по-латыни 37-м стихом XII главы от Луки («Beati servi illi, quos ets...»): «Блаженни рабы тии, ихже пришед Господь обрящет бдящих: аминь глаголю вам, яко препояшется и посадит их и приступив послужит им». Памятник этот был в конце 80-х годов очень запущен, но в последнее время возобновлен по распоряжению московского тюремного комитета. Скромная квартира Гааза опустела. Все оставшееся после него имущество оказалось состоящим из нескольких рублей и мелких медных денег, из плохой мебели, поношенной одежды, книг и астрономических инструментов. Отказывая себе во всем, старик имел одну слабость: он покупал по случаю телескопы и разные к ним приборы — и, усталый от дневных забот, любил по ночам смотреть на небо, столь близкое, столь понятное его младенчески чистой душе.

Трогательного человеколюбца пришлось хоронить за счет казны, мерами полиции. И тем не менее он оставил обширное *духовное завещание*! Его непоколебимая вера в людей и в их лучшие свойства не иссякла в нем до конца. Он был *уверен*, что те, кто из уважения к нему и из неудобства отказывать его молчаливым, но неотступным просьбам помогали его бедным, и после его смерти будут продолжать «торопиться делать добро». Совершенно упуская из виду значение своей личности и ее подчас неотразимого влияния, он — в полном непонимании юридических форм — наивно и трогательно распоряжался *будущими* благодеяниями добрых людей как своим *настоящим* богатством. Назвав ряд своих богатых знакомых, от которых можно было *несомненно* ожидать пожертвований, Гааз рисовал в завещании широкие планы различных благотворительных учреждений, подлежавших основанию на капиталы «благодетельных лиц», которыми должен был распоряжаться в качестве душеприказчика доктор Поль. Но огонь сострадания к людскому несчастью, согревавший этих лиц, горел, в сущности, не в них, а в беспокойном идеалисте, успокоившемся на Введенских горах. Чувства, которые умел зажигать Гааз, угасали еще скорее, чем его память, и доктор Поль должен был ограничиться лишь изданием на свой счет брошюры «Appel aux femmes», составляющей ныне библиографическую редкость.

В этом своего рода духовном завещании Гааз в форме обращения к русским женщинам излагает те нравственные и религиозные начала, которыми была проникнута его жизнь, и старается систематизировать проявления любви к людям и сострадания их несчастию, составлявшие движущую силу, principium movens[[29]](#footnote-29) его вседневной деятельности. «Вы призваны содействовать перерождению общества, — пишет Гааз, обращаясь к женщинам, — и этого вы достигнете, действуя и мысля в духе кротости, терпимости, справедливости, терпения и любви. Поэтому избегайте злословия, заступайтесь за отсутствующих и беззащитных, оберегайте окружающих от вредных увлечений, вооружаясь твердо и мужественно против всего низкого и порочного, не допускайте близких до злоупотребления вином, до увлечения картами... Берегите свое здоровье. Оно необходимо, чтобы иметь силы помогать ближним, оно — дар Божий, в растрате которого без пользы для людей придется дать ответ пред своею совестью. Содействуйте по мере сил учреждению и поддержанию больниц и приютов для неимущих, для сирот и для людей в преклонной старости, покинутых, беспомощных и бессильных. Не останавливайтесь в этом отношении пред материальными жертвами, не задумывайтесь отказываться от роскошного и ненужного. Если нет собственных средств для помощи, просите кротко, но настойчиво у тех, у кого они есть. Не смущайтесь пустыми условиями и суетными правилами светской жизни. Пусть требование блага ближнего одно направляет ваши шаги! Не бойтесь возможности уничижения, не пугайтесь отказа... *Торопитесь делать добро!* Умейте прощать, желайте примирения, побеждайте зло добром. Не стесняйтесь малым размером помощи, которую вы можете оказать в том или другом случае. Пусть она выразится подачею стакана свежей воды, дружеским приветом, словом утешения, сочувствия, сострадания — и то хорошо... Старайтесь поднять упавшего, смягчить озлобленного, исправить нравственно разрушенное». Подкрепляя эти рассыпанные по всей книге наставления житейскими примерами и ссылками на слова Христа, Гааз не может отрешиться от глубокой веры в хорошие задатки нравственной природы человека. «Любовь и сострадание живут в сердце каждого! — восклицает он. — Зло есть результат лишь ослепления. Я не хочу, я не могу верить, чтобы можно сознательно и хладнокровно причинять людям терзания, заставляющие иногда пережить тысячу смертей до наступления настоящей... «Не ведают, что творят» — святые и трогательные слова, смягчающие вину одних, несущие утешение другим. Вот почему надо быть прежде всего снисходительным... Способность к такому снисхождению не есть какая-либо добродетель, это — простая справедливость!» Во имя этой же справедливости он многократно возвращается к вопросу об отношениях хозяев и господ к тем, «кто у них служит или от них зависит», ссылаясь на послание апостола Павла к Тимофею (1 Тим 5. 8). «Доказывайте словом и делом ваше расположение к ним, — говорит он, — не отдавайте их во власть или под надзор людей недостойных, воспретите себе и всем в доме вашем брань на служащих и презрительное отношение к ним, читайте и разъясняйте им нравоучительные книги, охраняйте нравственность их, покровительствуйте их браку, и пусть день воскресный будет посвящаем уже не вам — а Богу...»

Проповедь любви, уважения к человеческому достоинству и серьезного отношения к жизни разлита по всей книге, написанной сильным, энергическим языком, с горячими и глубоко прочувствованными обращениями к читателю. Автор отразился в ней как в зеркале, и то, что сказано им по *смерти*, только освещает и подкрепляет то, что делал он при *жизни*. Этим полным, гармоническим согласием слова и дела — причем слово пришло после дела и лишь завершило его, — этим сочетанием, столь редким в действительности, так ярко характеризуется Гааз! Он умер с твердой верою «в мир иной и в жизнь другую» и мог с полным правом повторить слова Руссо: «Пусть прозвучит труба последнего суда, я предстану с этой книгою пред Верховного Судию и скажу: вот что я делал, что я думал и чем я был!»

Кончина Федора Петровича и его внушительные похороны произвели большое впечатление в Москве. Явились теплые некрологи, более, впрочем, богатые фразами, чем фактами; было собрано чрезвычайное заседание тюремного комитета, в котором вице-президент гражданский губернатор Капнист произнес речь по поводу постигшей комитет утраты. «Убеждения и усилия Федора Петровича, — сказал он между прочим, — доходили часто до фанатизма, если так можно назвать благородные его увлечения; но это был фанатизм добра, фанатизм сострадания к страждущим, фанатизм благотворения — этого благородного чувства, облагораживающего природу человека...» Между сослуживцами Гааза была открыта подписка на образование капитала для выдачи в день кончины Федора Петровича процентов с него бедным семействам арестантов; решено было для этой же цели отчислить из сумм комитета 1000 рублей. Это решение было утверждено президентом Попечительного общества графом Орловым, изъявившим комитету свою благодарность за чувства, выраженные им о христианской деятельности покойного Гааза.

Наконец, в «Москвитянине» 1853 года было напечатано стихотворение С. П. Шевырева «На могилу Ф. П. Гааза», помеченное 19 августа:

*«В темнице был — и посетили» —*

*Слова любви, слова Христа*

*От лет невинных нам вложили*

*Души наставники в уста.*

*Блажен, кто, твердый, снес в могилу*

*Святого разума их силу*

*И, сердце теплое свое*

*Открыв Спасителя ученью,*

*Все — состраданьем к преступленью*

*Наполнил жизни бытие!*

Вскоре, однако, за этим подъемом чувства наступило обычное у нас равнодушие и забвение, и память «фанатика добра» стала блекнуть и исчезать. Никто своевременно не собрал любящею рукою живых воспоминаний о нем, и объем их стал с каждым годом, с каждою смертью людей, знавших его, суживаться. Не нашлось никого, кто бы тотчас, под не остывшим еще впечатлением с умилением пред личностью утрированного филантропа набросал дрожащею от душевного порыва рукою его «житие». *Знавшие* его замкнулись в область личных воспоминаний и не почувствовали потребности поведать *не знавшим* о том, что такое был Гааз. Только Евгения Тур чрез девять лет после его смерти в нескольких прочувствованных словах помянула «Божия человека, который ждет своего биографа», да по прошествии еще шести лет П. А. Лебедев в довольно большом очерке обрисовал главные черты тюремно-благотворительной деятельности Федора Петровича. Но и эти напоминания прошли, по-видимому, бесследно, ибо в настоящее время в нашем обществе имя Гааза звучит как нечто совершенно незнакомое, чуждое и не вызывающее никаких представлений. Даже среди образованных людей, соприкасающихся с тюремным и судебным делом, даже среди врачей, которым следовало бы с чувством справедливой гордости помнить о главном враче московских тюрем, имя его вызывает недоумевающий вопрос: «Гааз? кто такой Гааз? что такое Гааз?»

Но если, верное себе, наше общество не сохранило памяти о Гаазе, «темные люди», бедняки и даже отверженцы общества поступили иначе. Они не забыли. Простой народ в Москве до сих пор называет бывшую Полицейскую больницу Газовскою. Арестант, отправляемый по этапу, знает, что надетые на него облегченные кандалы зовут газовскими, да в отдаленном нерчинском остроге, по свидетельству И. А. Арсеньева, теплится лампада пред иконою святого Феодора Тирона, сооруженною заключенными на свои скудные заработки по получении вести о смерти святого доктора...

Не забыт Гааз и в тесной среде врачей Гаазовской, ныне Александровской больницы. На средства в размере 5 тысяч рублей, собранные одним из преемников его доктором Шайкевичем, содержится в ней кровать «имени Ф. П. Гааза», а бюст утрированного филантропа напоминает о том, кому больница обязана своим существованием. Будем, однако, надеяться, что память о Федоре Петровиче Гаазе не окончательно умрет и в широком кругу образованного общества. Память о людях, подобных ему, должна быть поддерживаема, как светильник, льющий кроткий, примирительный свет. В этой памяти — единственная награда бескорыстного, святого труда таких людей; в ее живучести — утешение для тех, на кого могут нападать минуты малодушного неверия в возможность и осуществимость добра и справедливости на земле. Люди, подобные Гаазу, должны быть близки и дороги обществу, если оно не хочет совершенно погрязнуть в низменной суете эгоистических расчетов. На одной из могил, окружающих крест над прахом Ф. П. Гааза, есть надпись: «Wer im Gedächtniss seinen Lieben lebt, ist ja nicht todt, er ist nur fern! Todt ist nur der, der vergessen wird...»[[30]](#footnote-30). Хочется думать, что великодушному и чистому старику не будет дано умереть совсем, что его нравственный образ не потускнеет, что физическая смерть лишь удалила его, но не умертвила памяти о нем.

В заключение нельзя не остановиться еще на одной поучительной стороне жизни Федора Петровича.

Кто из читавших знаменитый роман Виктора Гюго «Les misérables»[[31]](#footnote-31) не помнит трогательного рассказа о епископе Мириеле, приютившем и обогревшем у себя отбывшего каторгу Жана Вальжана, которого отовсюду гонят с его волчьим паспортом? Переночевав, последний потихоньку уходит и, искушенный видом серебряных ложек, поданных накануне к ужину, похищает их. Его встречают жандармы, заподозривают и приводят с поличным к епископу, но, движимый глубоким милосердием, Мириель приветливо идет к нему навстречу и с ласковой улыбкою спрашивает: «Отчего же, друг мой, вы не взяли и серебряных подсвечников, которые я вам тоже подарил?» Толчок для нравственного перерождения дан, и Вальжан, духовно поднятый и просветленный, вступает в новую жизнь... Таков поэтический вымысел, созданный талантом и глубоким чувством французского поэта... Но вот что, по словам двух современников Гааза, случилось в 40-х годах, лет за двадцать до появления в свет «Les misérables», в Москве, в Малом Казенном переулке. Один из пришедших к Гаазу в числе бедных больных украл у него со стола часы, но был схвачен с поличным, не успев выйти за ворота. Федор Петрович, запретив посылать за полициею, позвал похитителя к себе, долго с ним беседовал о его поступке, советовал лучше обращаться к добрым людям за помощью и в заключение, взяв с него честное слово не воровать более, отдал ему, к великому негодованию своей домовитой и аккуратной сестры, свои наличные деньги и с теплыми пожеланиями отпустил его.

Многие, конечно, знают трогательную католическую легенду о святом Юлиане Милостивом, мастерски рассказанную Флобером и переведенную на русский язык И. С. Тургеневым. Она оканчивается рассказом о том, как Юлиан приводит в свой лесной шалаш неведомого ему путника, покрытого отвратительною проказою. Худые плечи, грудь и руки путника исчезают под чешуйками гноевых прыщей, и из зияющего, как у скелета, носа и синеватых губ его отделяется зловонное и густое, как туман, дыхание. Юлиан утоляет его голод и жажду, после чего стол, ковш и ручка ножа покрываются подозрительными пятнами; старается согреть его у костра. Но прокаженный угасающим голосом шепчет: «На твою постель!» — и требует затем, чтобы Юлиан лег возле него, а потом — чтобы он разделся и грел его теплотою своего тела. Юлиан исполняет все. Прокаженный задыхается. «Я умираю! — восклицает он. — Обними меня, отогрей всем существом твоим!» Юлиан обнимает его, целует в смердящие уста... «Тогда, — повествует Флобер, — прокаженный сжал Юлиана в своих объятиях — и глаза его вдруг засветились ярким светом звезды, волосы растянулись, как солнечные лучи, дыхание его стало свежей и сладостней благовония розы; из очага поднялось облачко ладана, и волны близкой реки запели дивную песнь. Неизъяснимый восторг, нечеловеческая радость затопили душу обомлевшего Юлиана, а тот, кто все еще держал его в объятиях, вырастал, вырастал... Крыша взвилась, звездный свод раскинулся кругом, и Юлиан поднялся в лазурь лицом к лицу с нашим Господом Иисусом Христом, уносившим его в небо...»

Это легенда, это трогательный поэтический вымысел на религиозной подкладке. А вот действительность... Директор госпитальной клиники Московского университета профессор Новацкий пишет нам 19 июня 1891 года о Ф. П. Гаазе: «Я принадлежу Москве с 1848 года. Во время моего студенчества я не имел чести не только знать, но и видеть Федора Петровича, а год моего поступления на службу в одну из клиник Московского университета — 1853 год — был, кажется, годом его смерти. Правда, в это короткое время мне, как дежурному по клинике ассистенту, пришлось принять один раз в Екатерининской больнице, где клиники находились, Федора Петровича и представить ему поступившую туда чрезвычайно интересную больную — крестьянскую девочку. Одиннадцатилетняя мученица эта поражена была на лице редким и жестоким болезненным процессом, известным под именем *водяного рака* (*noma*), который в течение четырех-пяти дней уничтожил целую половину ее лица вместе со скелетом носа и одним глазом. Кроме быстроты течения и жестокости испытываемых девочкою болей, случай этот отличался еще тем, что разрушенные омертвением ткани, разлагаясь, распространяли такое зловоние, подобного которому я не обонял затем в течение моей почти сорокалетней врачебной деятельности. Ни врачи, ни фельдшера, ни прислуга, ни даже находившаяся при больной девочке *и нежно любившая ее мать* не могли долго оставаться не только у постели, но даже в комнате, где лежала несчастная страдалица. Один Федор Петрович, приведенный мною к больной девочке, пробыл при ней более трех часов сряду, и притом сидя на ее кровати, обнимая ее, целуя и благословляя. Такие посещения повторялись и в следующие два дня, а на третий девочка скончалась...»



*Такие посещения повторялись и в следующие два дня, а на третий девочка скончалась...*

1. Я увожу к отверженным селеньям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколеньям (итал.). — «Божественная комедия». [↑](#footnote-ref-1)
2. Усатой княгини (франц.). [↑](#footnote-ref-2)
3. «Мое пребывание на Александровских водах» (франц.). [↑](#footnote-ref-3)
4. Ин-кварто — формат в 1/4 листа. [↑](#footnote-ref-4)
5. «Ничто не является лекарством само по себе, и что угодно может стать таковым, будучи определенным образом применено к организму; любое лекарство может оказаться ядом при определенных состояниях организма — и при определенных способах его применения», — говорил он. «Медицина, — продолжал он далее, — это наука, которая изыскивает связь, существующую между различными природными субстанциями и различными состояниями человеческого тела. Медицина — это королева наук. И не потому, что жизнь, о коей печется медицина, так прелестна и дорога для людей, а потому, что здоровье человека составляет условие, без которого в мире не совершается ничего великого и прекрасного; потому что жизнь вообще, которую рассматривает медицина, это источник, цель и основа всего; потому что жизнь, наукой о которой является медицина, это сама суть, а все остальные науки — ее атрибуты, эманации и различные отражения» (франц.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Но среди служителей этого священного искусства нет места корыстолюбцам, бесчестно нарушающим свой долг и приносящим в жертву своей гордыне и алчности здоровье больного, а свою собственную честь — в жертву унизительным капризам обеспеченных пациентов (франц.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Что человек среди произведений природы, то врач среди ученых (нем.). [↑](#footnote-ref-7)
8. Просто и полностью отдаюсь призванию члена тюремного комитета (франц.). [↑](#footnote-ref-8)
9. «Призыв к женщинам» (франц.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Такова была цена моих трудов: за мгновенье до отбытия этих несчастных я успел задать им четыре вопроса: «Хорошо ли вы себя чувствуете? Получили ли книги те, кто умеет читать? Нет ли у вас какой нужды? Довольны ли вы?» (франц.). [↑](#footnote-ref-10)
11. Да! я сам велел принять за правило моим подчиненным, служащим комитета, что слово «милость» не должно произноситься между нами. Другие посещают арестантов из милости, из милости же подают им милостыню, хлопочут о них перед начальством и родственниками из милости, — но мы, служащие комитета, раз вступив в эту должность, делаем все это по долгу (франц.). [↑](#footnote-ref-11)
12. «Воспоминания о придворной и дипломатической жизни баронессы Джорджины Блумфильд». Лондон. 1882 (англ.). [↑](#footnote-ref-12)
13. Изощренной пыткой (нем.). [↑](#footnote-ref-13)
14. Помни о смерти (лат.). [↑](#footnote-ref-14)
15. Подставить дружеское ухо прошениям ссыльных и арестантов (франц.). [↑](#footnote-ref-15)
16. Порочный круг (франц.). [↑](#footnote-ref-16)
17. Ин-октаво — формат в 1/8 листа. [↑](#footnote-ref-17)
18. Не желайте, квириты, такой жестокости! (лат.). [↑](#footnote-ref-18)
19. Он не думал ничего дурного! (нем.). [↑](#footnote-ref-19)
20. Он не хотел сделать зла! (нем.). [↑](#footnote-ref-20)
21. Безопасно, быстро и спокойно (лат.). [↑](#footnote-ref-21)
22. В здоровом теле здоровый дух (лат.). [↑](#footnote-ref-22)
23. Гн Гааз! если вы будете продолжать, я велю жандармам вас вывести! (франц.). [↑](#footnote-ref-23)
24. И ничего этим не добьетесь, князь, потому что я влезу в окно... (франц.). [↑](#footnote-ref-24)
25. Букв.: краткое бодрствование — скорые поступки. [↑](#footnote-ref-25)
26. О! спасибо, спасибо! они так несчастны! (франц.). [↑](#footnote-ref-26)
27. С. В. Максимов. [↑](#footnote-ref-27)
28. Фредерик Иосиф Гааз, родился в августе 1780 г., скончался 16 августа 1853 г. (лат.). [↑](#footnote-ref-28)
29. Движущий принцип (лат.). [↑](#footnote-ref-29)
30. Кто в памяти своей любви живет, не умер, лишь далек! А мертв лишь тот, кого забыли... (нем.). [↑](#footnote-ref-30)
31. «Отверженные» (франц.). [↑](#footnote-ref-31)